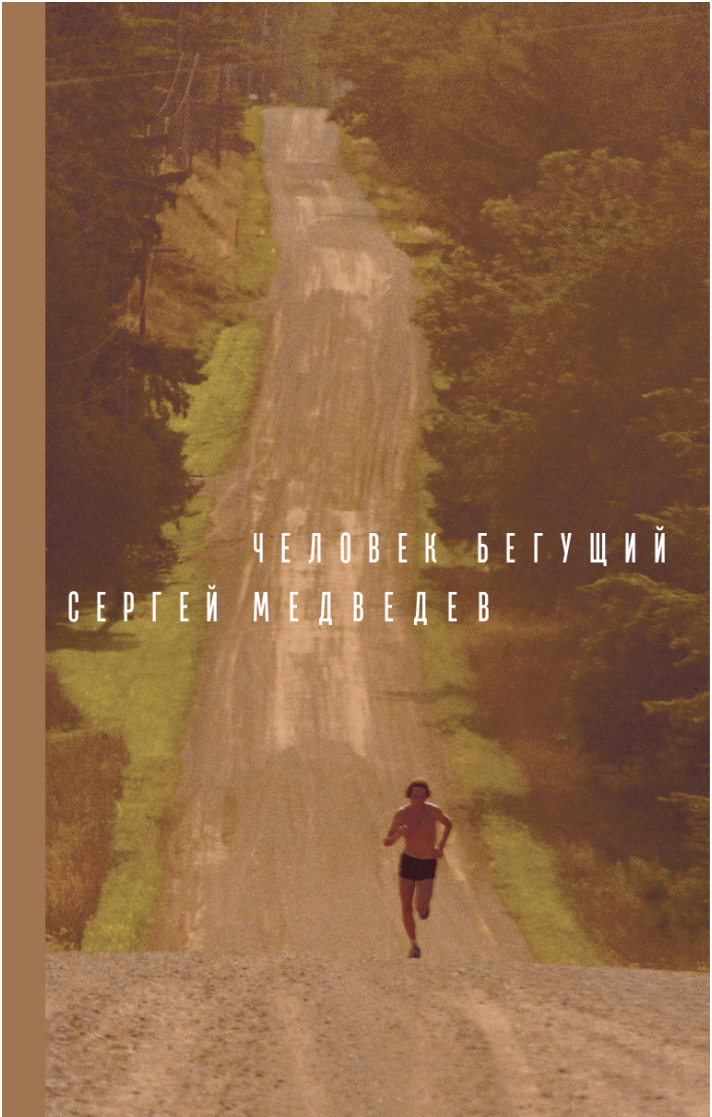

ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ

СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ

Сергей Андреевич Медведев
Человек бегущий

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65532766
Человек бегущий Роман: Новое литературное обозрение; Москва; 2021
ISBN 9785444814765

Аннотация

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МЕДВЕДЕВЫМ СЕРГЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МЕДВЕДЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

«Зачем я все это делаю? Почему я уже двадцать лет, проспав три-четыре часа, встаю ни свет ни заря, впотьмах ем мюсли и банан и выскальзываю в утренний холод – чтобы куда-то бежать, ехать, плыть?» В своем романе известный ученый, журналист и спортсмен-любитель Сергей Медведев делится опытом жизни в спорте, показывая, что работа с телом – важная часть самопознания и принятия своего единства с мирозданием. От захватывающих репортажей с экстремальных забегов, заплывов и лыжных марафонов по всему миру до философских размышлений о телесности в XXI веке – книга вбирает в себя множество эпох, стран и жанров повествования, но в центре ее неизменно остается все тот же романтический герой, «человек бегущий», для которого тело – неисчерпаемый источник

радости. Сергей Медведев – профессор Свободного университета в Москве, публицист, теле- и радиоведущий, автор книги «Парк Крымского периода».

Содержание

Вместо предисловия. Мысли на бегу 5
Снега былых времен 13
Черничный блюз 33
Рождение героя 56
Конец ознакомительного фрагмента. 105

Сергей Медведев
Человек бегущий Роман

Вместо предисловия. Мысли на бегу

На бегу мыслей нет. Есть только чувства и ощущения. И есть счет, который размечает дистанцию. На бегу можно считать шаги, на плавании – гребки, на велосипеде – обороты педалей, но проще всего считать вдохи и выдохи. Со временем счет становится автоматическим, и движение превращается в медитацию: дыхание выключает сознание, растворяет твое «я» в окружающей среде.

Однажды я плавал в Черном море у мыса Пицунда. Был закат безупречного летнего дня, штиль, море нежилось и серебрилось. Я расслабленно плыл кролем, бесчисленные блики бежали по воде, обманывая и убаюкивая; считая гребки, я потерял счет времени и забылся, не переставая плыть. Очнулся уже далеко от берега, где меня подхватило прибрежное течение и понесло прочь от мыса; 16-этажные корпуса санатория среди сосновых крон виднелись уже далеко позади. Я не на шутку испугался, повернул к берегу поперек течения, но силы таяли, и лишь через сорок минут я добрался

до берега и долго в сумерках брел по гальке до пирса, откуда стартовал.

После тренировки в голове наступает ясность, возвращаются мысли, приходят вопросы. И главный из них: зачем я все это делаю? Почему я уже двадцать лет, проспав три-четыре часа, встаю ни свет ни заря, впотьмах ем мюсли и банан и выскальзываю в утренний холод – чтобы куда-то бежать, ехать, плыть? Зачем ноябрьскими вечерами, в дождь со снегом и слякоть, нацепив на лоб фонарь, я выхожу в окрестные овраги на лыжную имитацию, бег с палками в гору? Ведь все давно доказано себе и окружающим, все трассы пройдены и знакомы до каждого поворота, медали финишера уже не радуют и привычно складываются в обувную коробку, тускло поблескивая металлоломом давно забытого тщеславия.

Бывают (впрочем, нечасто) и предательские мысли во время гонки – когда ты выдохся, не рассчитал с темпом, не поел вовремя, *капнул* на нашем жаргоне: гликоген понизился, ноги ослабли, тело охватывает дрожь, а бежать или ехать тебе еще десятки, а то и сотню километров, и ты отчетливо понимаешь, что следующие несколько часов превратятся в физическое и моральное мучение; но сойти с дистанции нельзя, *DNF is not an option*, как гласит спортивная максима: отметка в протоколе «не финишировал» – это не вариант. И ты продолжаешь двигать вперед свою тушку деревянными ногами, растягиваешь сведенные судорогой мышцы, отпаиваешься колой, чтобы залить в кровь столь необходимый сей-

час сахар – и в этот момент ты проклинаешь себя, свои занятия и этот спорт, которому отдано все твое нерабочее время, все выходные и отпуска, в ущерб карьере, личной жизни, здоровью, наконец, и ты говоришь себе «никогда снова», ты клянешься завязать со спортом и начать жить, как все, спать по выходным до полудня и ездить в отпуск на пляж. Но когда ты финишируешь, то все забываешь и готов проделать этот путь снова и снова, и почти сразу регистрируешься на гонку следующего года. И опять встает тот же самый вопрос: зачем?

В попытке ответить на него написана эта книга. Много лет назад, когда я только начинал бегать лыжные марафоны, я стал завсегдатаем лыжного форума, где спортсмены-любители делились советами, лайфхаками и, конечно же, новостями о ситуации со снегом на трассах – в сиротские зимы XXI века лыжник похож на искателя сокровищ, рыщущего по лесам в поисках остатков исчезающего снега. Одним из разделов сайта были отчеты о гонках – отч***о***ты, как мы их в шутку называли, в духе модного в те годы «олбанского языка» с его нарочито искаженной орфографией, универсальными формулами «аффтор жжот», «низачот» и «слив засчитан». К концу выходных участники форума писали подробные отч***о***ты о прошедших соревнованиях, соревнуясь в стиле, остроумии, дополняя их путевыми заметками и философскими размышлениями, и эта постгоночная рефлексия становилась частью спортивной жизни, дополнением к финишному про-

токолу: как говорили мы тогда, «без хорошего отчета результат не засчитан». Некоторые отчеты гуляли по Рунету в качестве самостоятельных текстов, а иные даже издавались: так, рассказ моего петербургского друга Ивана Житенева «Как я стал Ironman» о мучениях на своем первом «айронмене» в Цюрихе, где он от истощения пару раз попадал в палатку к медикам на капельницу, но все же финишировал, стал легендой интернета, был напечатан отдельной брошюрой и привлек в триатлон не одну сотню людей, включая меня. Эта книга – отч*о*т о моих двадцати годах в любительском спорте, с тех самых пор, как я пробежал свой первый лыжный марафон зимой 2000 года.

Обычно отчеты о гонках пишутся не победителями, молодыми сильными атлетами или бывшими профессионалами, у которых образ жизни не располагает к подобному философствованию, а простыми участниками из «толпы», из глубины основной группы. К ним отношусь и я, любитель во всех смыслах слова – и как человек, ни одного дня не занимавшийся в спортивной секции и всю науку бега, велоспорта, плавания и лыж постигший сам, без тренера, и как спортсмен, влюбленный в свое занятие. Я не достиг выдающихся спортивных результатов и в жизни не выиграл ни одного забега, кроме совсем уж домашних стартов, «чемпионатов водокачки», как мы их иронично называем. Бывает, я возвращаюсь с международных соревнований и коллеги, отдаленно представляющие, чем я занимаюсь, спрашивают меня на хо-

ду – «ну как, выиграл?», и я теряюсь, не зная, что ответить, и мямлю что-то вроде «забежал пятисотый». «Пятисотый?» – удивляются они и идут дальше, моментально забыв об этом разговоре.

Мне сложно объяснить им, что финишировать в первой тысяче на Берлинском марафоне, где стартуют 40 тысяч человек, или на 90-километровой лыжной гонке Васалоппет в Швеции, где стартуют 16 тысяч, включая сотни лучших лыжников из северных стран, – это неплохой результат для любителя, требующий многих лет тренировок, и я смиренно развожу руками. Я типичный гонщик из толпы, бьющийся за призовые места в своей возрастной группе, и мой любительский статус представляется мне подходящей точкой зрения. Во многом любителями и движется спорт: мы ближе, чем профессионалы, к изначальному английскому понятию «спорта» как хобби, увлечения, в нашем занятии есть благородная чистота жанра и бескорыстие подлинной страсти.

Эта книга писалась в 2020 году во время эпидемии коронавируса. Подобно «испанке» сто лет назад, пандемия вырвалась из Китая, охватила человечество и за считаные месяцы изменила облик цивилизации, обрушив целые отрасли экономики, разорвав человеческие связи, заперев нации в периметре собственных границ, а людей в стенах своих домов. Но коронавирус не только усадил всех на изоляцию перед экранами компьютеров, но и поставил нас перед реальностью природы: он стал последствием расширяющегося

вмешательства человека в окружающую среду. Безоглядная вырубка диких лесов в Азии и Африке, расширение плантаций под рыночные культуры типа пальмы, отлов и продажа экзотических животных на печально знаменитых китайских *wet markets*, рынках-живодернях, употребление их в пищу – зона контакта человека и живой природы опасно расширилась, и оттуда в цивилизацию стали все чаще попадать новые патогены. В последние сорок лет все смертельные вирусы глобального масштаба – ВИЧ, Эбола, SARS, MERS, а теперь и COVID-19 – были зоонозами, т. е. инфекциями животного происхождения, перекинувшимися в человеческую популяцию. Мы на собственной коже начинаем осознавать пределы, которые окружающая среда ставит нашему расширению, колонизации планеты и истощению ее ресурсов.

Ковид развернул нас и к собственной природе – как никогда со времен Второй мировой мы осознали свою телесность и смертность, обратили взгляд на физиологию жизни, из существ социальных превратились в биологических: напряженно следя за состоянием своим и близких, проверяя свое обоняние, читая десятки противоречивых мнений о вакцинах и иммунитете. Запертые поодиночке или в семьях, мы оказались наедине с собственным телом, его подробностями и несовершенствами; кто-то, подобно тысячам участников сетевого проекта «Изоизоляция», стал создавать из своих тел копии шедевров мировой живописи, а кто-то вытащил из кладовки велотренажер, эспандер или гантели и

начал заниматься физкультурой. Я знаю тех, кто десятки раз забегал по лестнице до верхнего этажа или катался на велосипеде на парковке собственного дома – работа с телом стала ответом жителей городов на эпидемию неподвижности, лекарством от неизвестности и страха.

Одновременно люди бросились скупать оборудование для турпоходов: весной 2020 года, на пике локдаунов первой волны, спортивные магазины с изумлением сообщали о взлетевших продажах палаток, спальных мешков и трекинговой обуви – запертые в домах горожане покупали надежду оказаться на природе, в удалении от других, в безопасности и чистоте. Так эпидемия стала для многих путем возвращения в природу и в собственное тело. Да и сам я, несмотря на отмену всех запланированных гонок, взялся за тренировки с удвоенным энтузиазмом: часами сидел на велостанке с видеозаписями подъемов на легендарные перевалы, бегал интервалы и короткие ускорения в парке под окном, вышел плавать в поймы Москвы-реки, когда вода потеплела.

Мой рассказ – об этом антропологическом сдвиге: о возвращении телесности в эпоху виртуальности. Тело – равноправная часть моей личности, оно имеет свою историю и свою память. Оно помнит десятки тысяч километров трасс, скрип пыли на зубах и кристаллы соли на коже, уколы мороза на щеках и холод дождя на плечах от промокшей майки, оно помнит все падения и приступы «асфальтовой болезни», как называют ее велосипедисты, все операции и реабилита-

ции, все поглощенные калории и выданные ватты мощности (а спорт – это наука о цифрах!) – и в итоге именно тело пишет историю моей жизни: на бегу мыслей нет.

Москва, декабрь 2020 г.

Снега былых времен

1

В доисторические времена снег ложился ко Дню Конституции, 5 декабря. Это была еще та, сталинская конституция 1936 года, которую отмечали до 1976-го – в 1977-м была с помпой принята новая конституция «развитого социализма», и праздник сместился на 7 октября – день по-своему хороший, честный осенний день, но для лыж бесполезный.

А если до 1976-го, значит, мне не было еще и десяти лет, и каждый первый снег был для меня потрясением – да остается важным событием и сейчас, почти полвека спустя. Природа готовилась к нему за несколько дней: пейзаж за окном расстилался серый, сухой, промороженный – земля словно отдала все свои долги, причастилась и соборовалась и лежала спокойно, ожидая облачения в белые ризы. Снег начинался после полуночи: я просыпался рано от непривычной белизны за окном. Была еще ночь, но с улицы лился мягкий свет: снег летел крупными хлопьями, заваливал сквер; сквозь белую мглу расплывчатыми радужными кольцами светили фонари нашей наземной, Филевской, линии метро. Из форточки несло не холодом, а сладкой свежестью. Стоя на коленях

в ночной рубашке на широком подоконнике, я прижимался носом к холодному стеклу и глядел на это чудо, пока окно не запотевало от моего дыхания.

Наутро я шел в школу по скрипучему свежему снегу, в воздухе была разлита сырость, машины на Кутузовском проспекте осторожно скатывались с моста по первой, самой опасной, наледи, и уже вышли на линию бодрые грузовички с песком. А после занятий я не оставался играть в снежки, а бежал домой, потому что было дело поважнее – отнести лыжи на просмолку в металлоремонт. Мастерская находилась в вагончике на углу у Дорогомиловского рынка, ныне модного маркета в здании современной архитектуры, а тогда обычного колхозного рынка – «блатными» в те годы считались Центральный и Черемушкинский. Внутри вагончика шла зимняя мистерия: звенел точильный камень и летели искры с лезвий коньков, шипела паяльная лампа и восхитительно пахло смолой. Я готов был стоять там часами, глядя, как клепаются и точатся коньки и засверливаются крепления, и вдыхая запах дегтя, который с той поры стал одним из любимых. Бывалые лыжники-классики всегда возят в смазочном чемоданчике две-три старые дегтярные мази, у меня тоже есть винтажные финские мази с надписью *Terva*, смола, и я иногда достаю их просто чтобы понюхать и вспомнить тот вагончик маталлоремонта.

Возвращался домой по Студенческой улице я уже в ранних сумерках, а снег все продолжал падать, и курили воз-

ле пожарной части спасатели в своих брезентовых робах, и таинственно блестели в глубине гаражей красные пожарные машины. В томительном ожидании проходили еще день-два, снега уже наваливало достаточно, чтобы появились первые сугробы, а карнизы оконных рам занесло. И вот наставало то самое 5 декабря, когда был намечен первый выход на лыжах. С вечера была собрана одежда: кирзовые ботинки с металлической скобой на носу под прогрессивные на тот момент крепления «ротефелла», связанные бабушкой шерстяные носки, байковые штаны с начесом (в 80-е я сменил их на джинсы, а в 90-е – на нейлоновые спортивные брюки), свитер, брезентовая штормовка и высокая шапка с красным помпоном из-под тех же бабушкиных спиц. Утром я основательно завтракал геркулесовой кашей и чаем с бутербродами, мама собирала рюкзак с термосом и сменной одеждой, и мы с ней отправлялись к метро. Лыжи были ее стихией еще со студенческих времен – всех своих друзей, поклонников, а позже моего отца, мою бабушку и меня самого с возраста пяти лет она заражала своим энтузиазмом и выводила на лыжню.

Вагоны метро уже были полны лыжников, частокол лыж доставал почти до потолка – там были вперемешку беговые и горные, в те годы они были почти одинаковой длины, под два метра, и на их носы были надеты матерчатые мешки с тесемками (в таких мы носили в школу сменную обувь) или рукавицы. Беговые лыжи сходили на «Филях» и пересажива-

лись в электричку, а горные ехали до «Молодежной» и дальше шли пешком на Крылатские холмы, московскую горнолыжную мекку, возникшую задолго до того, как там построили сам район Крылатское.

В электричке тоже почти все ехали с лыжами: их популярность сорок лет назад сложно представить из сегодняшнего дня; может быть, лучше всего этот спортивный дух передают картины Георгия Нисского, бывшего заядлым лыжником, яхтсменом и альпинистом, или ностальгические фотографии зимних пригородных платформ, забитых сотнями лыжников. Отчасти это было наследием туристической культуры 1960-х, когда молодые люди «ехали за туманом», отчасти дело было в недоступности других видов семейного досуга, хотя почему только семейного – назначить девушке свидание на лыжне было само собой разумеющимся. Мы ехали по усовской ветке до станции с волшебным названием «Ромашково», которая известна всем детям благодаря чудесному мультфильму «Паровозик из Ромашкова», где большеглазый паровоз сходит с рельсов, чтобы собирать ромашки в окрестных полях. Места там и вправду заповедные – ни промзон, ни складов, ни садовых товариществ, только реликтовые сосновые леса, тянущиеся вдоль Москвы-реки к западу от города, что облюбовали в XIX веке богатые москвичи со своими дачами и в XX веке – большевики с партийными санаториями и домами отдыха.

Из Ромашкова лыжня шла по широким сосновым просе-

кам. Скорее это была натоптанная тропа, по которой двигались рядом лыжники и пешеходы, лыжи по свежему снегу то и дело подлипали, рубашка под штормовкой промокала, вязаная шапка сползала на лоб, но что это было по сравнению с радостью скольжения, движения по зимнему пейзажу. Декабрьский снегопад все продолжался, с сосновых лап падали мягкие плюхи снега, шлепаясь на шапку, озорным ручейком проникая за шиворот (наверху качалась освобожденная ветка), а маленькие елочки, засыпанные снегом так, что из сугроба торчала только верхушка с парой боковых ростков, напоминали белые часовни с крестами на куполах.

Мы проходили, думаю, километров двадцать, с катанием с горки, с обязательным привалом и чаем из термоса с бутербродами, с переходом через широкое поле, где лыжи утопали в пухлом снегу, а леса по краям не было видно из-за начинающейся метели: снег залеплял ресницы и нос, лыжня терялась под ногами, и легко было себя представить полярным исследователем, что упорно торит свой путь среди торосов. Мы выходили на станцию Трехгорка главной ветки Белорусской железной дороги, когда уже начинались декабрьские сумерки. Метель прекращалась, небо розовело, а снег становился фиолетовым. Мы заходили в зал ожидания через узкую, непрестанно хлопающую дверь, которая выпускала клубы белого пара. Внутри было тепло, сыро и шумно, десятки лыжников стряхивали снег, перевязывали лыжи, изучали расписание, и по уставшему, остывающему телу про-

ходил первый озноб. И вот, разрезая синие сумерки мощным прожектором на лбу, в клубах снежной пыли, появлялась электричка, как сказочное существо, добрый зеленый дракон, дышащий светом и теплом. Сидя в вагоне на нагретой скамейке над печкой, я протирал пальцами запотевшее стекло и смотрел, как по синему снегу несутся желтые квадратики окон. Но день удовольствий на этом не кончался: дома ждала горячая ванна с хвоей и бульон с кулебякой, которую мама готовила еще спозаранку, до того, как все встали, так что по возвращении оставалось только поставить ее в духовку.

Этим ранним поездкам с мамой я обязан своей любовью к лыжам. Позже, когда начались лыжные дни на уроках физкультуры в школе, я их ждал с нетерпением, в отличие от большинства одноклассников. Многие запасались липовыми справками о бронхите, чтобы получить освобождение от занятий на улице, а для меня это был любимый день недели, когда я шел в школу в спортивных штанах, с лыжами, на которых болтался холщовый мешок с ботинками. В классе я едва досиживал до последнего урока, когда мы гурьбой в разномастных одеждах выходили из школы и шли на набережную Тараса Шевченко позади нашего здания. Сейчас там пафосный променад с видом на небоскребы Москва-Сити, а тогда все выглядело довольно убого: серый день, слякоть, оттепель, полузамерзшая Москва-река, за которой виднелись дымы и цеха Красной Пресни, словно пейзаж из ро-

мана «Мать» Максима Горького, который мы проходили по литературе. Кривая километровая лыжня была проложена между проплешинами земли и травы, с собачьими кучами и брошенными картонками для катания с горки – но я, как охотничий пес, чувствовал только запах снега и, замерев, ждал команды на старт, чтобы начать бежать наперегонки с собственной радостью.

В те дни, когда в школе не было лыж, я вечерами катался в сквере под окнами – сейчас там проложили Третье транспортное кольцо и течет десятиполосный поток машин, а прежде у метро «Кутузовская» был маленький парк с малороссийскими пирамидальными тополями: в нашем Киевском районе и названия улиц, и монументы, и породы деревьев напоминали о соседней республике (кто бы сказал мне тогда, что через тридцать лет Россия с Украиной будет воевать!). Я протаптывал в сугробах между клумб и тополей лыжный круг длиной метров пятьсот и катал по нему по часовой стрелке, раз за разом скользя все быстрее, теряя счет кругам, сбрасывая от жара шапку и шарф, утоляя жажду пригоршнями свежего снега – бегал двадцать, тридцать, сорок кругов, до головокружения и изнеможения, и возвращался домой мокрый, счастливый, с горящими пунцовыми щеками. Не помню, чтобы я хоть раз заболел после этих вечерних забегов.

Я выигрывал тогда все школьные старты, и учитель физкультуры Василий Алексеевич вывозил меня на районные

соревнования на Поклонную гору. Тогда она была еще горой, большой возвышенностью в начале Можайского тракта, с которой путники кланялись городу, а Наполеон глядел на пожар Москвы, пока неуемная фантазия Зураба Церетели не срыла ее до основания, превратив в бездушный и пафосный Парк Победы. С одной стороны там был густой лес, с другой – яблоневый сад, где и прокладывали лыжню. Там мне, туристу в вязаной шапке и в варежках, на деревянных лыжах (*дровах*, на жаргоне лыжников) противостояли модные ребята из спортивных школ – в обтягивающих рейтузах и олимпийках, в шапочках «петушок», на только появившихся тогда быстрых пластиковых лыжах – но и у них иногда удавалось выиграть или попасть в призы, хотя их преимущество в технике классического хода было видно невооруженным глазом. О том, чтобы мне самому пойти в лыжную секцию, не шло и речи: время было расписано между музыкальной школой в Плотниковом переулке, уроками тенниса на «Динамо» и школой юного искусствоведа при Пушкинском музее, да и мне вполне хватало моих любительских лыжных занятий – которые, как узнал я позже, и называются английским словом *sport*.

2

Если на лыжи меня поставила мама, то главные велосипедные воспоминания детства связаны с отцом. Я катался,

сколько помню себя: по семейной легенде, как только с моего детского велосипеда сняли страховочные боковые колесики, я надавил на педали и, к ужасу взрослых, укатил прочь из вида по Третьему просеку Серебряного Бора, где мы снимали летом дачу. Потом мы жили на даче в поселке Абрамцево рядом со знаменитой подмосковной усадьбой Сергея Аксакова и Саввы Мамонтова, и там я прошел все стадии велосипедного взросления, от детского «Школьника» до подросткового «Орленка» и взрослой «Украины» с промежуточной стадией польского складного велосипеда Wigry, на манер отечественной «Камы», которая закончилась в овраге, поскольку велосипед однажды сложился на ходу. Но в настоящие поездки, велосипедные туры, брал меня отец во время летних каникул в Рузе.

В целом, участие отца в моем воспитании было случайным и эпизодическим, а когда мне исполнилось двенадцать, он и вовсе ушел из нашей семьи, женился вторым, затем третьим браком, и прошло еще лет десять, прежде чем мы нашли друг друга на почве музыки, философии и литературы (у него была энциклопедическая эрудиция и великолепная библиотека во много тысяч томов, в каждом из которых были его карандашные пометки). Но если говорить о детстве и раннем отрочестве, то его роль сводилась к тому, что он один раз в год ездил со мной в Рузу, где находился Дом творчества композиторов – мой частный детский рай.

Подобные барские усадьбы имелись у всех творческих со-

юзов. В СССР власть благоволила к лояльной интеллигенции – художникам, артистам, музыкантам: как «инженеры человеческих душ» они несли в советской системе пропагандистскую миссию и были поставлены под неусыпный идеологический контроль, но также – и на особое довольствие. Творческим союзам – писателей, архитекторов, кинематографистов, журналистов – были положены престижные жилые дома в центре Москвы, дачные поселки, знаменитые московские клубы – ЦДЛ, Дом кино, Дом композиторов – а также дома творчества, построенные в самых живописных местах страны. Союз композиторов располагал особо богатой сетью таких усадеб – дома творчества были в крымском Мисхоре и в абхазском Сухуми, в грузинском Боржоми и в армянском Дилижане, в латышской Юрмале и в литовском Друскининкае. Был Дом композиторов на живописной окраине Иванова, среди полей, со своей мясо-молочной фермой и кувшинами парного молока с вечерней дойки. Ленинградцы ездили в Репино на Финском заливе или в Сортавалу на Карельском перешейке, где Дом творчества располагался в бывшей даче Маннергейма.

А у москвичей была Руза – большой участок леса на высоком берегу над Москвой-рекой недалеко от города Рузы по Можайскому шоссе, где среди сосен были построены три десятка дач – деревянные домики в финском стиле, с уютными спальнями, кабинетами с роялем, с летней террасой и большим дровяным сараем. Каждое утро туда приходили горнич-

ные, убирались, взбивали перины, топили печи – и трижды в день композиторы и их семьи сходились в столовую на завтрак, обед и ужин, где официантки (их называли «подавальщицами») в накрахмаленных фартуках разносили заказанные накануне блюда. Для многих композиторских семей они были кем-то вроде нянек и знали их уже в третьем поколении – у нас была официантка Нина, которая помнила меня с годовалого возраста и каждое лето привычно ахала, как я вырос. Еще был буфет, где полная румяная буфетчица Дуся продавала боржом и прочий дефицитный товар, от сервелата до икры – впрочем, ее могли себе позволить только богатые композиторы-песенники. Еще на территории были медпункт, библиотека, биллиардная, теннисный корт, который зимой превращался в каток, и маленькие домики-«творилки», где стояли рояли классом повыше, чем в дачах, Petroff или Blüthner, и куда композиторы могли уходить от семейного шума. Незапланированным бонусом к этому великолепию была раздвоенная сосна в форме лиры, что росла возле одной из «творилок» на развилке аллей.

С утра мы катались на лодке – лодочник оставлял для нас пару удобных, хорошо сбалансированных весел, и я греб вверх по течению до Устья – места, где в Москву-реку впадала река Руза – а на обратном пути складывал весла и плыл по течению, лежа на скамье и глядя на июльское небо с трехмерными кучевыми облаками, похожими на фантастических животных. Лодку иногда заносило в тихие заводи, заросшие

кувшинками, где сновали водомерки и зависали над водой стрекозы; я набирал несколько цветов – их толстые сочные стебли уходили далеко в глубину, крепко сплетались друг с другом, и, вытягивая их, я рисковал перевернуть лодку – но дома, поставленные в воду, они быстро чахли и умирали без родной реки. А у высоких берегов, на стремнине, лодку несло быстро вдоль глинистых обрывов с гнездами ласточек-береговушек, которые заполошно влетали и вылетали из своих нор.

После обеда был тихий час, и я лежал в комнате, полутемной от густого леса за окном, слушая одинокие голоса птиц, следя за тенями листьев на потолке. В пять был полдник в столовой, крепкий медный чай из самовара с теплой, свежевыпеченной сдобой, и наступало время тенниса. Отец был не столько сильным, сколько техничным и точным игроком; в юности он занимался у известного московского тренера Вадима Небурчилова. А я, как и в других видах спорта, тоже не занимался в секции, но брал уроки у легендарной динамовской теннисистки Нины Николаевны Лео, многократной чемпионки Союза в 1930-х—1940-х, подготовившей множество знаменитых игроков, включая Анну Дмитриеву. Нина Николаевна была тренером и другом семьи в трех поколениях, давала уроки моей бабушке, затем маме, и, наконец, мне. Думаю, что в лучшие свои годы я играл на уровне второго разряда – в целом, это был приличный дачный теннис, и хотя мне было всего 10—11 лет, мы с отцом составляли

боеспособную пару, дольше других остававшуюся на корте в игре по кругу с выбыванием. Помимо самой игры, в теннисе мне нравился ритуал: рукопожатия, переигрывание спорного мяча, извинения за случайно выигранный мяч, задевший трос и изменивший направление – и даже уборка корта между сетами: сначала разравнивание грунта, по которому протаскивали кусок сетки на перекладине, затем заметание линий щеткой – я обычно всегда вызывался делать это.

Но венцом ежедневной программы была вечерняя поездка на велосипедах. Поужинав, мы садились в седла – отец на «Украину», я на «Орленок» – и выезжали из ворот Дома творчества, спускались до шоссе, Большой «бетонки», переезжали мост, в Старой Рузе сворачивали направо и дальше ехали проселками вверх по течению Москвы-реки через поля и деревни (до сих пор помню их названия – Кожино, Полуэктово, Кузянино и Аникино, дальняя точка наших маршрутов), где отец показывал мне детали деревенской жизни. Он был музыкантом широкого профиля – критиком, оперным либреттистом, историком джаза, – но главной его страстью был фольклор: как председатель Фольклорной комиссии Союза композиторов он ездил с экспедициями по Русскому Северу, Вычегде, Печоре и Шексне, выискивал последних носителей традиции, собирал напевы и частушки (помню, его коллекцией матерных частушек живо интересовалась Лиля Брик, которой было уже далеко за 80), и оттуда, как мне кажется, шло его интеллигентское народничество –

как и все шестидесятники, что в XIX, что в XX веке, он искал правду в толще народной жизни, высоко ценил «деревенщиков», ездил на фестивали в есенинское Константиново и шукшинские Сростки. В позднесоветской деревне он искал признаки умирающей крестьянской цивилизации: показывал мне типы срубов и наличников, учил прибауткам («домик-крошка в три окошка»), заговаривал со старушками на завалинках, непременно останавливался напиться из колодца, хотя уже тогда я смутно понимал придуманность и этнографичность этого интереса.

А мне больше нравилось в полях, где колосилась рожь с васильками, а к концу июля поспевала кормовая кукуруза – другая в наших широтах и не вырастает, зато можно было полакомиться молочной спелости початком, высасывая из него белый сок. Вечерело, над полем начинали со свистом чертить стрижи, солнце неумолимо закатывалось за лес, на блеклом небе появлялся месяц. От реки поднимался туман со сладким запахом травы и горечью полыни; скоро он заволакивал всю пойму, скрадывая очертания прибрежных ив, глуша далекий лай собак. Мы усердно крутили педали в сизой полумгле, только поскрипывали на ухабах рама и пружины седла, да подрагивал звонок на руле. Когда окончательно темнело, мы включали фонарики, питавшиеся от динамомашины на вилке переднего колеса, и приезжали домой уже ночью, пропустив вечерний кефир в столовой. Счетчик километров тоже был механический, там, в окошке, будто в ста-

ром кассовом аппарате, выползали цифры, и однажды они показали вожделенную цифру 50 километров.

Засыпая ночью, я ложился поверх жаркого одеяла, вспоминая уходящий день всем телом, всеми мышцами, обгоревшим носом, волдырями на ладонях: блики солнца, скрип уключин и журчание воды у носа лодки, толчками движущейся против течения, глухой удар мяча о грунтовый корт и звонкий – о нейлоновые струны, молочную прохладу тумана и слепое пятно велосипедного фонарика. Наверное, именно тогда я научился памяти тела, тому, что не только глаза, нос и уши, но все оно дано мне в качестве органа осязания, инструмента для открытия мира.

3

И, наконец, был бег. Я бегал всегда, сколько себя помню; как уверяет мама, я побежал раньше, чем пошел. Бежать было таким же естественным действием, как дышать, говорить, смеяться; в младших классах я учился в школе возле гостиницы «Украина», километрах в трех от нашего дома, ехать туда было четыре остановки на автобусе или троллейбусе, но в погожие осенние или весенние утра меня так переполняла жажда движения, что пару остановок я бежал, чувствуя, как за спиной в ранце, словно шары в барабане «Спортлото», что показывали на ТВ по субботам, прыгают учебники и пенал. Современные психиатры наверняка диагностирова-

ли бы синдром гиперактивности, вкупе с дефицитом внимания, но по счастью в моем детстве их не было; как в известном анекдоте про дочку Фрейда, видевшую во сне банан, – «бывают и просто сны», а я просто бежал. Иногда я начинал прямо от подъезда. Мама позже рассказывала, что смотрела с балкона и не успевала даже позвать бабушку, как я уже скрывался в паре сотен метров за углом, на Кутузовском проспекте.

Я бежал широкими шагами, далеко выкидывая вперед свои непропорционально длинные ноги, а в голове у меня были картинки с телевизора: кубинец Альберто Хуанторена, выигравший золото на дистанциях 400 и 800 метров с мировым рекордом на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Еще у меня были в кумирах британцы Себастьян Коэ и Стивен Оветт, приехавшие на Олимпиаду 1980 года в Москву, несмотря на бойкот – но размашистый бег Хуанторены меня впечатлял больше всего: высокорослый, 190 сантиметров, смуглый атлет бежал в длинных черных гетрах немыслимыми трехметровыми шагами, и в своих снах я хотел бежать так же.

На физкультуре в школе, как и с лыжами, я любил дни с легкой атлетикой, прыжки в длину и в высоту, забеги на набережной. Сам я тоже больше рос в высоту, чем в ширину – худым и длинноногим, и однажды в четвертом классе, в возрасте 9 или 10 лет, прыгнул в длину на 4 с половиной метра, перелетев через два мата и изумив физрука, который

долго ходил с рулеткой и качал головой. После этого в школу пришел тренер из спортшколы и долго уговаривал меня пойти в секцию, но мне и в голову не могло такое прийти: бег, прыжки – это часть обычной жизни, зачем из этого делать специальность?

Сегодня, много лет спустя, я думаю, что из меня мог бы выйти неплохой средневик, как минимум мне поставили бы технику бега, которой мне так не хватает сейчас, но что теперь жалеть. В те годы я бежал на голом энтузиазме и генетике – ни выноса бедра, ни захлеста голени, ни постановки стопы под себя – и однако семнадцатилетним, на первом курсе МГУ, выбегал в простых кроссовках километр из 3 минут на дорожке стадиона на Ленинских горах без тренировки и разминки. Теперь мне это кажется отличным достижением для любителя (хотя даже недотягивает до 2-го разряда по легкой атлетике), а тогда я этого не понимал, и, сдав зачет и выйдя со стадиона, закуривал (увы, в те годы я курил) и отправлялся с однокурсниками пить пиво – обычная студенческая жизнь.

Еще в школе, в старших классах, начались мои ночные пробежки. Это случилось само собой, никто меня не звал, не мотивировал. Учебная нагрузка тогда возросла: помимо занятий в школе я ходил к репетиторам по английскому, математике, русскому языку – я хотел закончить школу на «пятерки» и сразу поступить в МГУ, не угодив в армию; хотя я пришел в первый класс в возрасте шести лет и у меня был

в запасе еще год до восемнадцатилетия, шла война в Афганистане, и ребята годом-двумя постарше, не поступившие в вуз, прямиком отправлялись в это пекло. Не то чтобы я лез вон из кожи – учился я с удовольствием, даже по предметам типа математики, которые сразу после выпуска благополучно забыл, но нагрузка была серьезная, по двенадцать часов в день, а весной, перед экзаменами, и того больше. К 11 ночи я чувствовал, как мозг отказывается принимать новую информацию, вставал из-за стола, брал беговую обувь – дефицитные лицензионные «адидасы», которые появились в продаже к Олимпиаде-80: они с первого же раза красили светлые носки синим или черным, но выбирать тогда не приходилось – либо они, либо китайские кеды, либо футбольные бутсы со спиленными шипами – и выходил из дома в ночной город, в теплую весеннюю ночь с запахом тополиных листьев.

Я пересекал Кутузовский проспект по подземному переходу, освещенному мертвым голубым светом, пробегал мимо большого сталинского дома с тяжелой лепниной, знаменитой номенклатурной «тридцатки» (Кутузовский, д. 30), и ноги выносили меня на набережную возле городошной площадки, где днем отставные партийные работники в пузырящихся трениках метали биту, выцеливая «колодец» или «бабушку в окошке», а ныне стоит Театр Петра Фоменко. Я бежал вдоль реки, пахшей тиной и мазутом, в маслянистых отблесках фонарей; пробегал мимо домов советской элиты на четной стороне Кутузовского (в доме № 26 жили Брежнев

и Андропов), мимо пивного завода имени Бадаева, старой фабрики красного кирпича, которая глухо шумела, дымила и сливала в реку пахучую жидкость неизвестного происхождения – я почему-то думал, что это забракованное пиво. Я бежал мимо гостиницы «Украина», рядом с которой была стоянка большегрузных фур из соцлагеря – болгарских, румынских, венгерских, – где неслышными тенями двигались фарцовщики, скупавшие у водителей дефицит, и валютные проститутки; пробегал под метромостом у «Смоленской», мимо ярких огней Киевского вокзала и гулких объявлений из репродуктора на сортировке, мимо дымов ТЭЦ-12 на Бережковской набережной, пересекал фабричную речку Сетунь, выливающуюся из трубы коллектора, – и оказывался в зеленых объятиях Ленинских гор. Там деревья были статны и самодостаточны, зелень привольна и свежа, и уходила вдаль по набережной цепочка ярких, безупречных фонарей.

Я добегал до станции метро «Ленинские горы» и возвращался тем же путем обратно – только Кутузовский был уже пуст, и я перебегал его поверху. Получалось километров 25, чуть меньше двух часов. В те годы мне и в голову не приходило, что может быть небезопасно бегать в час ночи одному по пустым набережным. Вернее, быть может, опасность и была, но я чувствовал, что это не я погружаюсь в стихию ночи, пустого города, мигающих светофоров – но что я сам часть этой стихии.

Вернувшись домой, приняв душ и опустошив половину

холодильника (я брал его методично, полку за полкой), я садился за чтение или за экзаменационные билеты. В пятом часу начинало светать, и я выходил посмотреть на рассвет на лестничную клетку, на верхний, девятый, этаж. Окна ее выходили на восток, и встающее передо мной солнце окрашивало розовым крыши Кутузовского, шпили высоток, золотой купол Ивана Великого. Подавали голос птицы, и деревья шелестом листвы приветствовали новый день. И одновременно с тем, как солнце заливало светом просыпающийся город, у меня в груди росло ожидание нового, важного, предвкушение больших событий, далеких горизонтов. Вспоминая сейчас эти дни, когда я стоял на пороге взрослой жизни, я думаю, что у меня, наверное, было счастливое детство, хотя и не знаю, по какой шкале мерить счастье. Одно я понял точно – кроме книг и мыслей, которые они рождают, кроме юношеских текстов, которые я писал десятками страниц, захлебываясь словами, кроме осознания конечности бытия, своего и своих близких, которое в этом возрасте уже пришло и было пережито и принято как неизбежность – мне было дано еще собственное тело, которое может перемещаться в пространстве на многие километры, дана радость движения, что искупает все жизненные проблемы и невзгоды: в любое время дня и ночи надо просто взять кроссовки, какие бы они у тебя ни были, выйти на улицу и начать бежать, и все остальное приложится, встанет на место.

Черничный блюз

1

Время 4 утра. Температура –23, в воздухе застыл морозный туман. Передо мной огромное снежное пространство размером с десяток футбольных полей, огороженное забором с рекламными щитами. Оно пока еще пусто, но по другую сторону ограды собрались тысячи людей, которые стоят в очередях в несколько деревянных ворот, ведущих внутрь. Кто-то, подобно рыбакам на льду, сидит на раскладном стуле в пуховом комбинезоне, кто-то греется у железных бочек с горящими досками, которые бросают резкие тени на лица, словно на картинах Гойи. Внешне люди спокойны, тихо переговариваются и шутят друг с другом, но внутренне они сосредоточены и напряжены: любое появление незнакомца, пытающегося вклиниться в очередь, встречает моментальный жесткий отпор.

Это стартовое поле лыжного марафона Vasaloppet, «Васа», как называют его лыжники, 90-километровой гонки от Салена до Муры в шведской провинции Даларна, в которой еже годно стартуют 16 тысяч человек. Участники стоят в очередях в стартовые карманы, которые были определены по

их прошлым результатам или по протоколам с других зачетных гонок. Карьера хорошего лыжника-любителя – это продвижение вверх по группам «Васы», вплоть до престижной первой (гонщики со 150-го до 500-го номера) или небожителей элитной (первые 150, где стоят профессионалы, гонщики Кубка мира и серии Skiclassics, вместе с самыми сильными любителями). Но отобраться в группу – это половина дела, надо еще заранее зайти в стартовые коридоры, чтобы встать в первые ряды своего кармана: это даст выигрыш в сотни мест. Поэтому гонщики и занимают очередь с ночи – с 3, с 4 часов утра – и греются у костров, подобно древним воинам перед битвой.

Эта история начинается в канун нового 1521 года, когда Швеция боролась за независимость от Дании. Одним из участников этой войны был молодой дворянин по имени Густав Эрикссон, племянник бездетного регента Швеции Стена Стуре Старшего. Он был нрава крутого и непокорного: по легенде, учась в Уппсальском университете у датского ментора, чтобы доказать свою независимость, он пробил кинжалом Библию со словами «Тысяча чертей на тебя и на твою школу». После перемирия с датским королем Кристианом II он был отправлен заложником в ненавистную Данию, но бежал в свободный ганзейский Любек, а оттуда в родную Швецию, в Даларну, где в декабре 1520 года пытался поднять восстание против датчан. Местные бюргеры и крестьяне слушали его с недоверием, датская стража шла по пятам, и по-

сле неудачного выступления Эрикссона перед собранием в городе Мура он бежал на лыжах через сопки в сторону Норвегии. Тем временем в Муру пришли известия, что в Стокгольме король Кристиан позвал на пир и предательски убил 80 шведских дворян, включая отца и брата Эрикссона, чаша терпения местных жителей переполнилась, и они послали за Густавом двух лучших лыжников, чтобы позвать его возглавить восстание. По легенде, те смогли нагнать его только в селении Сэлен в 90 километрах, у норвежской границы. Эрикссон вернулся, в 1521 году восстание охватило всю Даларну, и он двинулся на Стокгольм, который сдался ему в июне 1523 года. Он взошел на шведский престол 6 июня 1523 года под именем Густава I и стал основателем королевской династии Васа по имени своего рода. В честь его 90-километрового перехода и был задуман марафон из Сэлена в Муру под названием Васалоппет, «гонка Васы».

Любопытно, что у соседней Норвегии – похожая история спасения будущего короля, только происходила она тремя веками ранее, зимой 1206 года, когда сторонники партии биркебейнеров (изначально прозванных за бедность «лапотниками», «березовыми ногами», так как обуты они были в лапти из бересты), двигаясь на лыжах через горы и леса, унесли в Трондхейм от кровожадных соперников младенца, наследника престола Хакона IV. Мальчик стал королем Норвегии в 1217 году и положил конец гражданским войнам в 1240 году. В память об этом переходе норвежцы учредили

в 1932 году свой лыжный марафон, Биркебейнер, где участники несут с собой рюкзак весом с младенца, как минимум три с половиной килограмма.

Но Васалоппет появилась первой, в 1922 году – на волне межвоенного национализма гонки с патриотической легендой возникали тогда по всей Европе. В феврале житель Муры Андерс Перс опубликовал в местной газете статью с идеей проведения забега в честь перехода Густава Васы, на следующий день ее перепечатала национальная Dagens Nyheter, пожертвовав 1000 крон на организацию соревнований, и гонка состоялась уже месяц спустя, 19 марта 1922 года, собрав 119 участников, включая лучших лыжников Швеции. Первым на финише в Муре со временем 7 часов 32 минуты оказался 22-летний Эрнст Альм, став в итоге самым молодым победителем за почти столетнюю историю гонки. Васалоппет – это территория опытных лыжников: самым возрастным победителем стал швед Йорген Бринк, который выиграл ее накануне своего 38-летия в 2012 году, поставив заодно рекорд трассы —3 часа 38 минут, более чем вдвое быстрее первого чемпиона.

За век существования Васалоппет отменяли лишь трижды, в 1932, 1934 и 1990 годах – исключительно из-за бесснежных зим; ни Вторая мировая война, ни убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме накануне гонки 1986 года не остановили ее проведения: гонщики на старте почтили его память минутой молчания. В послевоенное вре-

мя численность участников неуклонно росла, но настоящий прорыв случился после 1966 года, когда телевидение стало транслировать гонку вживую и «Васа» сделалась одним из главных событий годового календаря и маркером национальной идентичности. Сегодня Васалоппет – один из самых узнаваемых шведских брендов, наряду с ABBA и IKEA, несущий в мир основные шведские ценности: северную природу, простоту и рациональность, упорство и преодоление, равноправие и демократизм. «Васа» – символ эгалитарного спорта, где вместе стартуют лучшие лыжники мира и простые любители, где регулярно участвовал нынешний король Швеции Карл XVI Густав, где молодые волки, амбициозные атлеты из сотен клубов, разбросанных по стране, получают шанс сразиться с вожаками стаи, заявить о себе миру, ворваться в сотню, тридцатку, десятку лучших. От этого на Васалоппет такой суровый дух соперничества – десятилетиями там соревнуются провинции и города, заклятые соседи шведы и норвежцы, мужчины с лучшими женщинами.

С женщинами, впрочем, отдельная история. Как и на всех массовых стартах в мире, женщины весь XX век боролись за свое участие наравне с мужчинами. На Васалоппет в 1923 году участвовала одна лыжница, Маргит Нордин, и после этого вплоть до 1980 года участие женщин было запрещено, чтобы, как говорилось тогда, не компрометировать образ гонки как самого тяжелого испытания; затем еще на протяжении шестнадцати лет, до 1997 года, женщин допускали, но не на-

граждали победительниц. Начиная с 1960-х, многие протестовали против этих патриархальных правил, и некоторые женщины участвовали в гонке, переодетые мужчинами – так, в 1978 году две лыжницы бежали в профессиональном театральном гриме, с усами и бородой, и давали по ходу гонки интервью телевидению. Сегодня женщины-лидеры едут вместе с первой группой гонщиков, проигрывая в общем зачете лучшим мужчинам лишь 15—20 минут. И если победителя традиционно чествует «кранскулла» («девушка с венком»), местная незамужняя девушка, спортсменка, одетая в народный костюм провинции Даларна, которая вешает лавровый венок на шею первого атлета (что порой не всегда удается сделать в финишном спринте), то победительнице теперь отдает почести «крансмас» («мужчина с венком»), отобранный по тем же критериям и одетый в длинный кафтан и широкополую шляпу. Ну а я всегда стараюсь равняться на победительниц: иногда в местных гонках мне удавалось их обогнать или быть «в призах» в женском зачете, а на соревнованиях уровня Васалоппет я считал за большую удачу забежать в женские топ-10.

И хотя зачет на Васалоппет личный, у нее атмосфера командной гонки: помимо пары десятков профессиональных команд серии Skiclassics, это сотни корпоративных и местных клубов. Вдоль трассы в стратегических местах оборудованы их пункты поддержки: вот палатки Volvo, вот городок ABB, вот группы болельщиков знаменитого IFK Mora,

спортклуба Мура – и у всех свои логотипы, командные комбинезоны, снегоходы, смазчики, поильщики, массажисты, тренеры с запасными палками, расставленные в самых опасных местах; «Васа» – это непрерывный дух состязания, криков „heja!“, „heja!“, смолистый дым костров, горящих вдоль трассы, лай собачьих упряжек, трещотки и колокольчики детей, мчащиеся по параллельным шоссе командные фургоны, жужжащие сверху дроны и стрекочущий вертолет телевизионщиков: видеть или хотя бы слышать его – хороший знак, значит, ты недалеко от лидеров.

Все начинается примерно за год – вернее, за 49 недель до старта, когда открывается регистрация на гонку следующего года. Гонка всегда проходит в первое воскресенье марта, и значит, в заранее объявленный воскресный день в конце марта за пять минут до полудня по шведскому времени десятки тысяч людей по всему миру сидят у компьютеров, считая секунды, причем некоторые для верности просят своих родственников и друзей продублировать их запрос (перекрестные регистрации потом отсекаются). Ровно в полдень открывается портал, и 15 800 стартовых слотов – а именно такое максимальное количество установлено организаторами, чтобы гонка не превратилась в кучу-малу – уходят за пару минут; рекордным временем было 40 секунд. Одновременно бронируется жилье: в деревенской местности между Сэленом и Мурой и в радиусе ста километров вокруг все гостиницы, коттеджи, кемпинги и частные дома забронирова-

ны за год, иные и на годы вперед, а какой-нибудь сарай рядом со стартом может стоить по 200 евро за место на топчане.

Впереди будут месяцы тренировок, летняя подготовка, лыжероллеры и кроссы, силовая работа на тренажерах и имитация с лыжными палками. Многие пожертвуют неделями летнего отпуска, чтобы поехать в октябре и ноябре на первый снег – на север Швеции и Финляндии, а в России – в Коми или на Северный Урал, на вершину Теи в Хакасии или в Малиновку в Архангельской области, где темнота будет 20 часов в день: жить в спартанских условиях по четыре человека в комнате, варить себе макароны и накатывать тренировочный объем на освещенных трассах или в темном лесу с налобной фарой. Потом придет зима, начнутся первые старты, на которых они будут стараться улучшить свои результаты, чтобы отобраться в более высокую стартовую группу на «Васе», и, приехав в Сэлен или Муру, в зону регистрации, выстаивать очереди в кабинку со словом *Seedning*, «посев», где строгие шведские комиссары гонки будут внимательно изучать их протоколы и сверять со своими таблицами, чтобы шлепнуть на стартовый номер печать с лучшим номером группы – или сурово качать головой: твои результаты не годятся, стартуй из той группы, куда тебя распределили.

А накануне дня гонки, в субботу, начнется коллективное шаманство со смазкой. Классический ход, в отличие от конькового, – это умение хорошо намазаться на держание, положить правильную мазь под колодку лыжи. Васалоппет про-

ходит в начале марта, в переходную погоду на стыке зимы и весны, когда температура может по ходу гонки меняться на 10—15 градусов: в 7 утра на старте в Салене может быть –20, а на финише в Муре после 14 часов может быть оттепель с дождем; кроме того, трасса пересекает несколько природных зон, от сопок с тундрой и редколесьем до лесистых низин и болот. Лыжники сравнивают десятки прогнозов от разных метеослужб, ездят с градусниками для снега в разные точки трассы, звонят знакомым смазчикам; одновременно представители фирм лыжных мазей расставляют свои палатки с прогнозами погоды и вариантами смазки. Стартовый и финишный городки гудят, как ульи, всюду расставлены переносные станки для подготовки лыж, сноровисто орудуют утюгами бывалые смазчики в фартуках, дымят фтористые порошки, гонщики озабоченно обсуждают слои «бутерброда» под колодку – грунт, жидкая мазь, твердая мазь, и главное – чем «закрываться» – что класть самым верхним слоем, чтобы работало на разбитом в кашу стартовом поле и на самом сложном участке трассы – великом и ужасном стартовом подъеме.

Потому что хотя Васалоппет – это 90 километров непростой трассы по холмам, лесам и открытой тундре, самая сложная ее часть – это узкий стартовый подъем в сопки, который тянется с 1-го по 3-й километр с набором высоты 200 метров. Огромное стартовое поле в 16 тысяч человек разгоняется на первом километре и упирается в бутылочное гор-

лышко – извилистую просеку в густом лесу, которая двумя рукавами уходит наверх и теряется где-то за вершинами елей. Тридцать параллельных лыжней превращаются в 4—5, лыжники толкаются, подсекают друг друга, ломая хрупкие карбоновые палки соседей, срезая с них лапки, неуклюже встают «елочкой» – попробуйте-ка остановитесь на скользких лыжах на крутом подъеме, когда спереди частокол спин, а сзади подпирают! Первые 200–300 сильных атлетов пролетят эти три километра ходом, причем большинство так хорошо готовы, что затолкаются руками, люди из первой тысячи потеряют в собирающейся пробке до пяти минут, зато тех, кто идет сзади, ждет нарастающий ад: треск палок и лыж, сдавленные окрики и проклятья, водовороты вокруг упавших лыжников и колышащаяся, напирающая сзади неумолимая толпа. Болельщики на подъеме стоят с запасными палками, камеры шведского ТВ выхватывают из толпы отдельные человеческие трагедии, кто-то на обочине, держа в руках сломанные лыжи, обескураженно дает интервью. Участники из десятой тысячи проведут в этой пробке до часа, из пятнадцатой – могут потерять и два. Именно поэтому так сражаются люди за места в стартовых коридорах, порой тратя годы, чтобы подняться на один-два кармана вверх, поэтому и горят с глубокой ночи на стартовом поле костры и стоят в них замерзшие лыжники, чтобы в 5 утра, когда откроют ворота, кинуться в свой коридор и положить лыжи в первом ряду.

Но как ты ни готовься, как ни занимай с ночи очередь, как ни выбирай лыжи и смазку, сколько ни расставляй по трассе сокомандников и друзей, Васалоппет окажется жестче, сложнее и неожиданнее и опрокинет твой самый тщательный план. Другие гонки мирового марафонского календаря, например, Кёниг-Людвиг-Лауф в Баварии, Энгадинский марафон в Швейцарии и Марчалонгу в итальянском Трентино, можно спланировать до минуты, но «Васа» – это стихия, которую нельзя предсказать. По погодным условиям на нее похож норвежский Биркебейнер, который проходит в паре сотен километров к западу поздней весной, в еще более капризную погоду, меняющуюся от чистого льда до снежного бурана и дождя, но там старт дают в течение нескольких часов по возрастным группам, и нет фактора толпы, который является главным элементом непредсказуемости на Васалоппет. Иными словами, «Васа» – это судьба, и относиться к ней следует, как опытному альпинисту к горе: почтительно, смиренно и с долей фатализма.

2

Я бежал Васалоппет восемь раз, и ни одна гонка не была похожа на другую. Были быстрые, по чистому льду, которые пролетались на одном дыхании, далеко из 5 часов, были медленные и мучительные, когда тело отказывалось работать уже на двадцатом километре, и впереди лежали 70 километ-

ров позора, но в целом мне почти всегда удавалось заезжать в тысячу, а пару раз даже в пятьсот лучших, так что обычно я ехал в окружении амбициозных любителей, идущих на результат, с командами и группами поддержки, и плохо представлял себе, что происходит сзади, в «чернике» – так называют толпу более медленных участников, которые выпивают на пунктах питания весь *blåbärssoppa*, знаменитый шведский черничный кисель, горячий, мягкий и питательный, который стал фирменным знаком Васалоппет, – в той самой десятой тысяче, что покорно стоит в очереди на стартовый подъем. И лишь однажды представился случай увидеть настоящую трудовую «Васу» изнутри, с далеких позиций.

В тот год я был готов, как никогда. Снег выпал рано, удалось вкатиться в сезон и набрать 700 километров объемов, потом пошли скоростные тренировки, гонки – 63-километровый марафон в эстонском Тарту и 50-километровая Финляндия-хиихто в финском Лахти, в обеих из которых я финишировал в топ-50, так что отобрался в первую стартовую группу на «Васе», сразу за элитой. В мечтах маячили наполеоновские планы заехать в топ-300, а то и повыше, и сердце сладко замирало в предчувствии того, как я, завидев заветный шпиль церкви в Муре, ускорюсь на финиш в окружении элитных номеров.

Предстартовое волнение охватило меня уже на стойке выдачи негабаритного багажа в стокгольмском аэропорту Арланда, где собрались поджарые небритые мужчины молодого

и среднего возраста в куртках лыжных брендов, исподволь оглядывая друг друга, чтобы оценить силу соперника – кто знает, может, с этими сухими итальянцами в спортивных костюмах клуба карабинеров мы схватимся на подъеме к Рисбергу или Оксбергу? С грохотом выкатили тележку с лыжными чехлами – все серьезные, на 5–10 пар, а у кого-то и палки в отдельных тубах – и, разобрав их, мы двинулись в сторону стоянки.

Там меня уже ждали друзья из Петербурга, приехавшие на микроавтобусе с большим скибоксом на крыше, где вместе с лыжами их жен, детей и с моими привезенными из Москвы тремя парами насчиталось 30 пар лыж. Мы ехали в арендованный домик в двадцати километрах от старта, и по мере продвижения на север возрастало на шоссе количество автомобилей с такими же капитальными скибоксами, обклеенными стикерами с известных марафонов. Заехав в коттедж, мы отправились на регистрацию, получили стартовые номера, а я еще и штамп на проход в вожделенную первую группу, побродили по экспо, прикупив на память по фирменной шапочке и послушав советов смазчиков от фирм-производителей. Как это часто бывает на Васалоппет, в субботу, накануне гонки, ожидалась идеальная морозная погода, а в ночь и в утро старта – обильный снегопад.

На следующее утро мы поехали на 20-й километр трассы *откатывать* лыжи, чтобы понять, какая из пар лучше едет по этому снегу. Был погожий мартовский денек, мяг-

ко светило и уже немного пригревало солнце, по окружающим сопкам разбегались мохнатые северные ели, причудливо облепленные снегом от недавней метели. Найдя небольшую горку с длинным выкатом, мы разложили там десяток пар лыж с разными *структурами* (микронасечки на скользящей поверхности на разные типы снега, нанесенные шлифовальным камнем на специальном станке) и стали тестировать, на какой можно укатить с горки дальше. Откровенно говоря, эта процедура, перенятая у ведущих команд с их сотнями пар спонсорских лыж и десятками специальных помощников, *откатчиков*, у нас, любителей, напоминает карго-культ, но осознание собственной серьезности и профессионализма, пускай и не влияющее напрямую на результат, – это часть удовольствия, за которым, в итоге, мы все сюда и приехали.

И тут случилась первая неожиданность: перестегиваясь из одной тестовой лыжи в другую, я поскользнулся на обледенелой горке, лыжа поехала вперед, нога полетела вверх, и я шлепнулся на спину – но не приземлился на ягодицы, а упал поясницей на жесткую термофлягу, которую лыжники возят с собой на поясе на разминку и тренировку. Спину пронзила резкая боль, которая и через пять минут не отпустила, а тупо засела сзади под ребрами, не давая нормально вздохнуть. Поначалу я делал вид, что ничего не происходит, *откатал* еще две пары лыж, морщась от боли, прокатил еще десять километров с разминочной скоростью, после чего оконча-

тельно сдался и поехал к травматологу в Сэлен. Диагноз был прост и неутешителен, как я и подозревал, – ушиб и трещина ребра возле точки прикрепления к позвоночнику. Лечение и гипс никакие не требуются, сказал врач, просто несколько недель покоя – но пока что каждый шаг и вдох отдавались острой болью.

Я попросил его выписать мне мощное обезболивающее, опиодный анальгетик трамадол. Я знал его по паре своих прошлых травм, его давали в первый день после операций как самое сильное средство после опиатов, и еще однажды, много лет назад, он помог мне на отборе в российскую команду на приключенческую гонку Camel Trophy, когда, сорвав накануне спину, я еще двое суток поздней осенью таскал вместе с командой на своих плечах внедорожник Land Rover по болотам и оврагам Подмосковья. В финальную четверку я тогда не отобрался, но эффект трамадола запомнил хорошо – и еще запомнил, что он дает тошноту, головокружение и потерю внимания. Не случайно Всемирное антидопинговое агентство уже не первый год думает о том, чтобы включить его в список запрещенных препаратов: по слухам, профессиональные велогонщики используют его, чтобы заглушить боль от падений и перегрузок, но он же служит причиной массовых завалов, когда спортсмены в пелотоне теряют концентрацию. В любом случае, на тот момент он не был запрещен, и я решил принять его вечером и утром перед гонкой.

Последние часы прошли в поисках волшебной формулы мази держания, ибо погода ожидалась, что называется, залетная – ночью –3, утром на старте –1 и снегопад, на середине трассы 0 и снег с дождем, на финише +3 и дождь – и в панических звонках знакомым профессиональным смазчикам, каждый из которых давал свой железный вариант: «держать будет, как на гвоздях». Ночью непрерывно валил снег, наш домик в сопках засыпало по окна, и мы поднялись уже в 3 утра, чтобы откопать крыльцо и машины. Я так и не смог заснуть: из-за боли в ребре я не мог лежать, только сидеть. Позавтракали мюсли, замоченными с вечера в кефире: получилась малоаппетитная замазка, мало похожая на легендарные швейцарские бирхер-мюсли, я принял еще одну таблетку трамадола – и тут меня накрыло его побочными эффектами, и я помчался на крыльцо, где меня вывернуло наизнанку всем только что съеденным. Умыл лицо снегом, подышал сырым воздухом и вернулся в дом. Вдобавок к трещине в ребре, мне предстояло бежать 90 километров натощак.

В Сэлен приехали ближе к 7. Снегопад немного ослаб, но стартовое поле уже превратилось в кашу. Мы положили последний слой мази по погоде, закинули рюкзаки со сменной одеждой в грузовики, которые поедут на финиш, и заняли места в своих стартовых коридорах. В разрывах низких облаков появлялись отчаянно синие куски весеннего неба, над нами завис вертолет телевизионщиков, зазвучала знаменитая стартовая мелодия Васалоппет. Меня немного мутило от

бессонной ночи и от пустого желудка, состояние было, как с похмелья, но впрыск предстартового адреналина был куда мощнее: я считал секунды и думал не о теле, а о дистанции передо мной.

3

Как всегда за грохотом вертолета я не расслышал стартовый выстрел, просто все вокруг поехали. Начал толкаться прыжками и я, высматривая просветы между спинами впереди, обгоняя зазевавшихся соперников. Разгонный отрезок напоминает игру в шашки: все прыгают из лыжни в лыжню, выбирая самую быструю – от того, как ты отработаешь первый километр, зависят оставшиеся 89. И в этот момент, как в замедленном кино, я увидел, как один лыжник передо мной, перестраиваясь, подсекает другого, оба падают, я неотвратимо въезжаю в этот завал и лечу вперед рыбкой, раскинув руки и ноги. Тут же кто-то проезжает по моей палке, ломая ее, я беспомощно барахтаюсь на снегу, пытаясь встать, пока мимо и поверх меня несется полубезумное стадо со скоростью тридцать человек в секунду, наконец, через боль мне удается подняться и осторожно, под окрики едущих сзади, пробраться к краю стартового поля. Я качусь вдоль барьеров, выпрашивая у зрителей запасную палку, пока не доезжаю до маршала с ворохом палок, который дает мне одну. Рядом проносятся номера уже из шестой и седьмой тысячи, а сзади на-

пирают еще десять тысяч. Гонка на результат для меня была закончена, не начавшись, оставалась гонка на выживание.

Меня окликнули из толпы зрителей – это был знакомый лыжник, живший с семьей в Швеции и снимавший домик прямо возле стартового подъема. Сразу оценив мою ситуацию, он предложил пойти позавтракать, чтобы подождать, пока рассосется пробка на подъеме, но я не оценил его юмора и покатил вперед – чтобы через сотню метров упереться в стену из людей. Очередь на подъеме была похожа на толпу у эскалатора в час пик в метро: мерно колышущаяся масса, продвигающаяся вперед по сантиметру. Далее, насколько хватало глаз, уходила вверх река разноцветных шапочек. Я тоже вошел в ритм колебаний, стараясь устоять на лыжах на скользком склоне, прижав палки и локти к туловищу. Иногда справа или слева раздавался сдавленный крик или треск палки, оступалось и падало тело, и толпа молча обтекала его по законам гидродинамики.

Через полчаса этого черепашьего толкания крутизна подъема ослабела, толпа стала растягиваться и прореживаться. Еще через десять минут мы миновали табличку 87 километров до финиша (на «Васе» километры считаются в обратном порядке), вышли на равнину и покатили по редколесью под рваным, серым небом. Впереди, насколько хватало глаз, растянулись караваны лыжников; сначала мы шли в три лыжни, потом в две, и наконец, выстроились в одну бесконечную колонну, в которой было, наверное, две сотни людей.

Катили плотно, лыжа в лыжу, наезжая на пятки друг друга. Как и в велоспорте, ехать в пелотоне было легко, можно было даже толкаться через раз, но любая попытка вырваться из него оборачивалась неудачей – в параллельных лыжнях лежал свежий снег, лыжи нещадно тупили, а караван моментально закрывал просвет и уже не пускал тебя обратно.

Не легче оказались и подъемы, на которые так щедра трасса Васалоппет; все ее промежуточные станции – это «берги», горки: Эвертсберг, Рисберг, Оксберг. На длинных тягунах выяснилось, что холодная мазь на свежем снегу не держит и лыжи нещадно *простреливают*, отдаваясь болью в сломанном ребре. Впрочем, это было не у меня одного, обочины всех подъемов были уставлены вереницами гонщиков, лихорадочно перемазывающих лыжи. Мне это сделать было несколько сложнее, поскольку боль в спине не давала наклониться, чтобы снять лыжи, и приходилось просить об этом зрителей. Бывалые болельщики на трассе, привыкшие ко всем видам немощи и распада, охотно помогали мне расстегнуть крепления, хотя колодку я подмазывал сам – если строго следовать правилам, то помощь со стороны запрещена. По мере того, как менялись погодные условия и мазь начинала то *простреливать*, то *залипать*, я перемазывался еще дважды, а некоторым приходилось это делать и по пять —шесть раз.

С болью в ребре мне удалось договориться: я представил ее как нечто внешнее по отношению к собственному телу и

наблюдал ее со стороны: она отдельно и я отдельно. Не следует давать ей проникнуть в собственное «я» и заполнить сознание, надо стараться оттеснить ее на периферию, переключив внимание на насущные задачи: найти быструю лыжню, догнать группу в сотне метров впереди, и даже, проезжая по гребню сопки, оглядеться вокруг и насладиться пейзажем – заснеженные мягкие холмы, покрытые редколесьем, с разбросанными там и сям красными коттеджами. На спусках, не в силах *сложиться* в низкую скоростную стойку, я вставал в полный рост и с наслаждением разгибал больную спину, вызывая заслуженные окрики и проклятия сзади – группе приходилось объезжать меня по сторонам.

Не меньшей проблемой стала подменная палка. Мало того что она была сантиметров на десять короче, чем нужно, у нее еще не застегивался темляк (лямка на липучках, которая крепит ручку палки к кисти), и мне приходилось крепко зажимать ее в кулаке, что совершенно неправильно: кисть лыжника должна быть все время разжата, усилие передается только через петлю, а не через кулак. В итоге у меня заболела кисть, и я получил тенденит сухожилия на добрых три недели после гонки; но все недомогания и диагнозы были потом, а пока оставалась реальность трассы и борьбы – с дистанцией, собственной слабостью и соперниками.

Ибо именно здесь меня ждал главный сюрприз и открытие: самонадеянно считая, что я, «гонщик первой тысячи», на голову сильнее людей из третьей—четвертой тысячи, с

которыми сейчас ехал, я обнаружил там достойных соперников. Вокруг были отлично подготовленные лыжники, далеко не все на лучшем оборудовании, некоторые на старых моделях лыж 1980-х годов с высокими загнутыми носами, иные в болоньевых куртках, в меховых рукавицах и вязаных шапках – но все отчаянно боролись за каждое место, за каждый отрезок трассы, забегали в подъемы *на параллельных лыжах*, обгоняли, по-спринтерски толкались при перестроениях даже после четырех, пяти часов гонки. И я понял, что общий уровень конкуренции на Васалоппет небывало высок: кто-то бьется за победу, кто-то за место в первой сотне, кто-то, как я, за место в лучших 500, а кто-то за третью, пятую, седьмую тысячу, стремится перейти выше по лестнице отбора, многолетнего состязания, не прекращающегося ни зимой, ни летом. И все они готовились последний год, вкладывали деньги и время, жертвовали отпуском и сном – все ради этих нескольких часов, ради заветной медали с изображением короля Густава Васы, которую дают каждому, кто проиграл победителю не более 50% от его времени: расчетное время, необходимое для получения медали, начинают писать мелом на специальных досках примерно с середины дистанции. И у каждого гонщика из «черники» своя победа, и каждый достоин такого же уважения, как элитный спортсмен.

Мы со своими попутчиками в медальное время укладывались с запасом, но борьба продолжалась до последнего ки-

лометра дистанции, когда уже стал виден шпиль церкви в Муре, была слышна музыка с финиша и оставался последний *торчок*, подъем на деревянный мостик над шоссе, с которого трасса скатывается в финишный коридор – и тут уже, на трех параллельных лыжнях, разделенных еловыми лапами, силы удесятеряются, и гонщики финишируют под крики болельщиков, подобно лидерам, отчаянно толкаясь палками, выкатываясь под деревянную финишную арку с девизом гонки, написанным готическим шрифтом – *„I fäders spår för framtids segrar“*[1], вскидывая руки в победном жесте – неважно, шли ли они к финишу три с половиной часа или все двенадцать.

Мое время было чуть более 6 часов, место 1800-е. И хотя, признаюсь, я немного свысока отношусь к массовым медалям участников, ценя только те, которые получал за призовые места в своей возрастной группе, тут я с благодарностью и уважением принял и повесил на грудь тяжелую медную медаль с королем Густавом Васой – на лыжах, с шестом, который заменял в былые времена лыжные палки, и в островерхой шляпе – и до сих пор храню ее на видном месте. В конце концов, ты получаешь ее не за место и не за время в гонке, а за преодоление обстоятельств времени и места – и Васалоппет, как никакая другая, умеет их подкинуть, щелчком разрушить твои амбициозные планы и благосклонно позволить финишировать, оставив чувство голода и неудовлетворенно-

[1] По следам отцов к завтрашним победам (*швед.*).

сти. И ровно через три недели, в воскресенье, без одной минуты полдень по шведскому времени, ты снова застыл над компьютером, готовый отправить свою регистрацию на «Васу» следующего года. Лыжных марафонов на свете много, но Васалоппет – это судьба.

Рождение героя

1

26 апреля 1336 года 31-летний поэт Франческо Петрарка вместе со своим младшим братом Герардо и двумя слугами предпринял восхождение на гору Мон-Ванту в Провансе, «движимый только желанием увидеть ее чрезвычайную высоту». Они стартовали до восхода солнца из деревни Малосен у северных отрогов одиноко стоящей двухкилометровой горы, получившей название «Гигант Прованса» или «Лысая гора», поскольку верхняя часть ее – голый известняк без растительности и деревьев, из-за чего она кажется покрытой снегом круглый год. На деле снег лежит до апреля, и в тот год он сошел лишь пару недель назад, открыв бесплодный каменистый горб, вознесшийся над долиной Роны.

«Долгий день, ласковый ветер, душевная бодрость, телесная крепость и ловкость были на стороне путников, – писал Петрарка в письме своему духовнику августинскому монаху Дионисию из Борго Сан-Сеполькро, – против нас была только природа местности». На пути наверх путешественники встретили старого пастуха, который принялся их отговаривать от восхождения, вспоминая, как сам лет пятьдесят

назад поднимался на гору в таком же порыве юношеского задора и ничего оттуда не вынес, кроме раскаяния, усталости и изодранных камнями и колючками тела и одежды, причем никогда ни прежде, ни позднее не было у них слышно, чтобы кто-то решился на подобное. Отчаявшись отговорить братьев от их намерения, пастух прошел с ними немного и указал на крутую тропинку между отвесных камней. Братья продолжили восхождение, при этом Герардо упорно шел по крутому гребню горы, а Франческо искал более пологие участки, но всякий раз лишь петлял, и ему приходилось нагонять брата.

Ближе к закату, добравшись, наконец, до вершины, они нашли там небольшую площадку и застыли в ошеломлении, «взволнованные непривычным веянием воздуха» и открывшейся панорамой: облака остались под ногами, и они увидели долину Роны, Марсельский залив и горный хребет Севенны. В этот момент Петрарка, как он написал позже, достал карманный томик «Исповеди» Блаженного Августина, открыл его наугад и наткнулся на то место в Книге Десятой, где тот рассуждает о памяти: «И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, – а себя самих оставляют в стороне!»[2]. На обратном пути Петрарка умолк, размышляя о тщете человеческих желаний и благородстве чистой мысли. Стемнело, дорогу путникам освещала высокая

[2] Пер. М. Сергеенко.

луна. Вернувшись в деревню глубокой ночью после восемнадцатичасового пути, он, по собственному признанию, первым делом бросился за стол и записал свои впечатления в письме духовнику, из которого мы, собственно, и знаем об этом восхождении.

Сегодня исследователи сомневаются, что Петрарка действительно сел писать это письмо в шесть тысяч слов на изящной латыни, с точными цитатами, еще до ужина, сразу после многочасового похода. Несомненно, что он не был первым человеком на вершине – на Мон-Ванту поднимались и в языческие времена, и позднее местные жители, а парой лет ранее там побывал французский философ Жан Буридан (автор того самого парадокса про осла – человек, по всем свидетельствам, подвижный и любознательный, недаром молва приписывает ему любовные отношения с Маргаритой Наваррской) по пути в папский двор в Авиньоне, чтобы произвести на горе метеорологические наблюдения. Более того, ставят под сомнение сам факт, что Петрарка поднимался на вершину: учитывая, что на деле это письмо было написано и опубликовано полтора десятка лет спустя после предполагаемого восхождения и через десять лет после смерти его адресата, монаха Дионисия, возможно, что Петрарка придумал этот рассказ, чтобы изложить свои сокровенные мысли.

Однако не столь уж и важно, состоялось ли это восхождение в действительности: история Петрарки стала одной из

точек отсчета Нового времени – осознание человеком пейзажа, переживание природы как ландшафта собственной души. В классическом труде «Культура Италии в эпоху Возрождения» Якоб Буркхард назвал Петрарку «подлинно современным человеком», открывшим значение природы для его «восприимчивого духа». Поэт поднялся на гору для удовольствия, без определенной практической цели – *because it is there*, «просто потому, что она есть», как ответил Эдмунд Хиллари на вопрос, зачем он отправился на Эверест; и хотя некоторые историки культуры называют Петрарку первым альпинистом, это будет некоторой натяжкой, тем более что Мон-Ванту стоит вдалеке от Альп.

Без малого семьсот лет спустя я повторил его восхождение, совершив велосипедное паломничество на легендарную гору. Мон-Ванту обладает особым статусом в велоспорте, наряду с Альп д'Юэз, Стельвио, Мортироло и еще пятью—шестью перевалами, и, несмотря на то, что крутизна подъема не запредельна, средний крутизна его менее 8%, он, возможно, самый грозный из великих перевалов, и причина тому – ветер, который и дал горе ее название, *Ventoux*, ветреная. Хребет, одиноко стоящий среди равнины Прованса, притягивает все ветры, и самый свирепый из них, мистраль, дующий с северо-запада в сторону моря и выворачивающий с корнем деревья, так что многие из них в Провансе наклонены к югу. На верхней части Ванту ураганные порывы достигают 320 километров в час, но это рекорд, хотя и в обычные дни, во-

семь месяцев в году, ветер дует со скоростью 90 километров в час, из-за чего дорога наверх часто бывает закрыта. Другая особенность горы – ее каменистый лунный пейзаж, который возник в результате вырубки лесов для нужд французского флота на верфях в Тулоне в полусотне километров к югу: в этом безжизненном пространстве гонщик открыт всем стихиям и уязвим. Тур де Франс регулярно заезжает сюда с 1951 года, и Ванту помнит победы Раймона Пулидора, Эдди Меркса, Бернара Тевене, Марко Пантани в легендарной дуэли с Лэнсом Армстронгом, Криса Фрума и Томаса де Хендта в 2016 году, когда из-за сильного ветра финиш устроили на шесть километров ниже вершины, у горнолыжной станции Шале Рейнар.

Я стартовал рано утром из Арля, на окраине болот Камарг в дельте Роны, миновал Авиньон и к полудню был в Бедуэне, откуда начинается классический 21-километровый подъем с юга. У подножья стояла июльская жара, под палящим солнцем замерли виноградники, гора дрожала в мареве, словно облитая жидким стеклом. На первых километрах дорога еще полога, проходя в густых смешанных лесах, со средиземноморской сосной, дубом и грабом, сил в ногах много, и, читая на густо расписанном асфальте имена своих кумиров гонщиков, ты понимаешь, что приобщаешься к легенде. К середине подъема лес редеет, меняясь зарослями можжевельника, и градиент растет, доходя до двузначных цифр – 12 и местами 15%. На дороге появляются столбики, отмечающие кило-

метры до вершины и среднюю крутизну каждого, а навстречу скатываются велосипедисты в ветровках и утеплителях, заставляя удивляться: кому они нужны в тридцатипятиградусной жаре?

Но вот растительность кончается, и я выезжаю на лунный пейзаж с голым известняком и россыпями камней. На открытом месте сразу бьет в лицо холодный порыв ветра, напоминая, что высота уже далеко за 1000 метров. Впереди, между рваных облаков, видна красно-белая телевышка, между мной и ней – километры бесплодной, бездушной пустыни. В дни этапов Тура на этих склонах стоят сотни тысяч болельщиков, но сегодня они пусты, и лишь на поворотах расположились продавцы воды и фотографы, делающие снимки медленно ползущих вверх велосипедистов вроде меня и заботливо кладущие в задний карман джерси свою визитку с адресом сайта, чтобы мы позже могли купить у них фото. Ветер становится все сильнее и холоднее, треплет тебя из стороны в сторону, едва не опрокидывая велосипед, и я вспоминаю рассказы о том, что легких гонщиков-«горняков» здесь иногда попросту сдувает, но моих 75 килограммов и силы мышц хватает, чтобы стоя в седле бодаться с гудящей стеной ветра.

После Шале Рейнар крутизна немного отпускает, и можно перевести дух и поднять голову – вышка кажется все так же далеко, но уже чувствуется ее притяжение. Мы минуем гранитную плиту – памятник 29-летнему британскому велогонщику Тому Симпсону, погибшему здесь 13 июля 1967 года,

на 13-м этапе Тура от обезвоживания и теплового удара: на вершине в тот день было свыше 50 градусов. Он упал в первый раз, но был в сознании и просил посадить его на велосипед, чтобы он смог продолжить. Его водрузили в седло и растолкали, но он продолжал ехать зигзагами и через сотню метров рухнул уже без сознания, впал в кому и через три часа умер в больнице Авиньона. В его крови обнаружили алкоголь (он глотнул коньяка в придорожном баре перед подъемом – гонщики в те годы сами забегали в кафе за напитками) и амфетамины: именно они позволили ему отодвинуть болевой порог и заглушить сигналы организма, молившего о пощаде. У памятника лежат вымпелы велоклубов и бачки с водой, которой Тому не хватило на последних трех километрах подъема. По велосипедной традиции оставляю бачок с остатками изотоника и я, вершина близко, и я уже знаю, что доеду – или дойду: известны случаи, когда из-за ураганного ветра велосипедистам приходилось одолевать последние сотни метров пешком.

Ко мне гора была милостива, ветер продолжал дуть сильно, но ровно, как в аэродинамической трубе, после разворота дороги на 180 градусов я рывком одолел финишный торчок, знакомый по стольким кадрам, – иногда из-за крутизны последних метров и встречного ветра победитель даже не может традиционно вскинуть руки, и его подхватывают волонтеры – остановился и огляделся окрест. Равнина была затянута знойной дымкой, на востоке виднелись снежные хреб-

ты Альп, на юге оловянно поблескивала гладь Марсельского залива, над которым из черных туч шел дождь. Я пытался представить те мысли и чувства, что испытывал путешественник семь веков назад, неважно, был ли это Петрарка или Буридан, и, подобно поэту, пришел к мысли о безграничности человеческого духа, который может в одной точке соединить пространство и время, и поскольку у меня не было с собой карманного издания «Исповеди», то достал свой старенький мобильный телефон, одну из первых моделей с камерой и сделал фото. Обнаружив недавно этот снимок в архивной папке компьютера, я увидел лишь мутное, размытое пятно в плохом разрешении; в этом смысле память – более надежный союзник.

Большой термометр на метеостанции показывал +7, на 30 градусов холоднее, чем внизу, меня начал колотить озноб, и я пошел внутрь, чтобы выпить чашку шоколада в кафе и утеплиться для спуска: теперь я понимал, почему так одевались велосипедисты, ехавшие навстречу. Спуск с горы в сторону Малосена оказался широким и раскатистым, повороты все хорошо читались, и можно было распустить велосипед до 80 километров в час. На полпути вниз внезапно начался густой сосновый лес, замелькали тени на асфальте: я словно попал в горячую хвойную ванну, так что пришлось спешно останавливаться и снимать лишнее. Я влетел на скорости в сонный Малосен, объехал хребет Ванту против часовой стрелки и направился в сторону холмов Люберона, где пей-

заж был спокоен, умиротворен и облагорожен тысячелетиями труда. В полях уже отцвела лаванда, оставив аккуратные бурые грядки, и на вершинах холмов расположились средневековые деревни – словно защитники крепости, плечом к плечу, на склонах стояли по кругу каменные дома, обороняясь от мавров, каталонцев, жары, мистраля, времени. История в них застыла, и когда я, буксуя на крутых мощенных камнем улочках, заезжал туда набрать в фонтанчике воды, то на пустых, уснувших площадях с наглухо закрытыми ставнями мой велосипед был единственным свидетельством современной эпохи.

Где-то между Руссийоном и Боньё, признанными «одними из самых красивых деревень Франции», я ехал на закате среди полей, остывающих от дневного жара, шелеста трав и неумолчного стрекота цикад, как вдруг все резко затихло, природа замерла. Я остановился и в недоумении огляделся вокруг. Прямо на меня на бреющем полете бесшумно летела тройка истребителей. Черными птицами, затмевая солнце подобно всадникам апокалипсиса, «Миражи» беззвучно пронеслись над верхушками деревьев на юг, к базе французских ВВС в Марселе, и следом за ними, раздирая небо, обрушился невыносимый грохот, заставив меня пригнуться, бросить велосипед, закрыть уши. И я подумал, в очередной раз за этот день, как велик гений человека и как порой страшны дела его.

Самолеты скрылись, природа очнулась от ужаса, и понача-

лу робко, а потом все громче и радостнее продолжила праздновать окончание долгого жаркого дня.

2

Взбирался ли Петрарка на Мон-Ванту или вообразил это в порыве вдохновения – горы еще долгие века оставались для человека преградой и источником опасности, с обрывами и пропастями, где обитали тролли и заблудшие души. Ходить по горам, тем более восхищаться ими казалось странным; легенды рассказывали об охотниках и пастухах, которые терялись в ущельях и на горных кручах, пропадали насовсем или объявлялись годы спустя в виде призраков. Европейский пейзаж, который стал развиваться со времен современника Петрарки Джотто, подступался к горам осторожно: поначалу они были фоном к сюжетам священной истории, аллегорией божественного – или опять-таки символом опасности, преодоления, как в образах бегства святого семейства в Египет или у святого Иеронима в пустыне. Отношения человека и пейзажа впервые заявлены у Леонардо, в скалистом ландшафте за спиной Моны Лизы: он написан в манере «сфумато» – расплывчатым, голубовато-зеленым, словно под водой или во сне; неясность этого горного пейзажа, его ускользающая светотень так же загадочны, как и полуулыбка Джоконды.

Еще более интимные отношения с пейзажем сложились к

северу от Альп: одним из пионеров горного пейзажа считается немецко-швейцарский художник Конрад Витц, живший в первой половине XV века в Базеле и изображавший снежные пики во многих своих работах, например, в алтаре собора Святого Петра в Женеве; а столетие спустя в холстах и гравюрах Альбрехта Альтдорфера и других представителей «Дунайской школы», объединившей Австрию и Баварию, появляется и чистый пейзаж как объект созерцания. В Нидерландах в это же время появляется тип композиции под названием *Weltlandschaft*, «панорама мира» – воображаемый панорамный вид с горами и низинами, строениями и маленькими фигурками людей, словно видимый с возвышенности: именно такой взгляд характерен для Питера Брейгеля-старшего, например, в «Охотниках на снегу», где за типичным голландским пейзажем вдруг встают фантастические высокие горы.

Идиллический пейзаж периода классицизма, где горы становятся декоративной кулисой, аллегорический пейзаж эпохи барокко, стремившийся передать отношения людей через бурную жизнь стихий, уступают место естественному идеалу эпохи Просвещения, экологической утопии Жана-Жака Руссо, утверждавшего, что природа – это свобода. Наступило время сентиментализма и романтизма, где герой может излить душу природе и в ней же почерпнуть жизненную силу. Манифестом новой эпохи становится *Der Wanderer* – «Странник над морем тумана» немецкого романтика Каспа-

ра Давида Фридриха.

Молодой человек, в котором по растрепанной светлой шевелюре угадывается сам художник, взошел на вершину и, стоя спиной к зрителю, смотрит на расстилающийся под ногами горный ландшафт, затянутый клочьями тумана. Перед ним расщелины и хребты, поросшие деревьями; горизонт проясняется, туман поднимается. Как и во многих картинах Фридриха, мы входим в пейзаж через фигуру странника, одинокого человека, созерцающего ландшафт, но здесь он представлен более фактурно, является центром композиции: романтический герой, гордый и сильный, смотрит на горы взглядом равного, буря чувств в его душе соизмерима со стихией перед ним, он признает ее величие, но одновременно бросает ей вызов, в нем чувствуется фаустовский дух исследователя.

«Странник» был написан в 1818-м. Наполеон доживал последние годы в ссылке на острове Святой Елены, но фермент свободы бродил по миру: Симон Боливар завершал освобождение Южной Америки от испанского господства, в России был создан «Союз благоденствия», из которого впоследствии вышло движение декабристов. В Британии выходили последние песни «Чайльд-Гарольда», воображение Европы захватил байронический типаж, провозгласивший свободу тела, мысли, поведения и непочтительность к любой власти. Эпоха романтизма явила нового героя-одиночку, покорителя стихий и сердец, свободолюбивого и готового бросить вы-

зов правителям, вступиться за угнетенных – лорд Байрон защищал восстание луддитов и права женщин, испанских крестьян и греческих повстанцев.

Важной составляющей этого образа была телесная крепость, смелость и ловкость, которые герой должен был проявить не только в бою, как в рыцарском идеале прошлых веков, но в испытаниях и приключениях. Тот же Байрон прославился тем, что переплыл Дарданеллы, что впоследствии считал своим самым большим достижением: „*I plume myself on this achievement more than I could possibly do on any kind of glory, poetical, political or rhetorica*l“[3].

Рожденный хромым, со склонностью к полноте (говорят, что в 17 лет он весил больше 100 килограммов при росте 172 сантиметра), он решил преобразить свое тело, занявшись в Кембриджском университете плаванием – и стал одним из лучших пловцов своего времени, без труда проплывая по 8–10 километров. В своем первом зарубежном путешествии, двухлетнем гран-туре по Средиземноморью в 1809–1810 годах, он посетил Испанию и Португалию, Албанию, Грецию, Турцию и Малую Азию, – и там же совершил свой легендарный заплыв.

Дарданеллы, который древние греки называли Геллеспонтом – это узкий и бурный пролив между Европой и Азией, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. Из-за раз-

---

[3] Я горжусь этим достижением больше, чем любой другой славой, которой я мог бы добиться в поэзии, политике или риторике.

ной солености Средиземного и Черного морей здесь существуют два течения, поверхностное, с опресненной черноморской водой, идущее вдоль европейского берега из Мраморного моря в Эгейское, и придонное течение, с более соленой и плотной водой, идущее в обратном направлении. Из-за множества бухт в проливе возникают водовороты, а сильный ветер постоянно поднимает волну. В самом узком месте, между европейским Сестосом и азиатским Абидосом, всего полтора километра, но из-за сильных течений плавание здесь крайне опасно. В античном мифе юный Леандр из Абидоса полюбил Геро, жрицу Афродиты, жившую на другом берегу, в Сестосе, но их любовь должна была оставаться тайной. Каждую ночь Геро зажигала огонь на башне, и ее возлюбленный переплывал пролив, ориентируясь на этот свет; но однажды в бурю пламя погасло и Леандр сбился с пути. Наутро его тело прибило к ногам Геро, и в отчаянии она бросилась в море с башни.

Эта легенда, воспетая Овидием и Шиллером, а также Кристофером Марло в своей знаменитой эротической поэме, была, несомненно, хорошо известна Байрону, и он решил покорить Геллеспонт в том же самом месте, чтобы доказать, что заплыв Леандра был вполне возможен и история двух возлюбленных – не миф. Первая попытка состоялась в апреле 1810 года, но из-за сильного течения и холодной воды заплыв был остановлен. Вторая попытка была удачной: 3 мая 1810 года лорд Байрон и лейтенант Королевского флота Уи-

льям Экенхед переплыли Дарданеллы в сопровождении лодки, и хотя расстояние между двумя берегами по прямой составляет полтора километра, пловцы из-за сильного течения проплыли более шести. Плыли они брассом – кроль пришел в Европу лишь в середине XIX века от американских индейцев, но еще долгое время считался «варварским» стилем – при этом Байрон истратил 1 час 10 минут, а Экенхед был на 5 минут быстрее, хотя об этом факте Байрон впоследствии упоминал весьма расплывчато. В любом случае, это было выдающееся достижение: сегодня рекорд на том же маршруте (вольным стилем и в гидрокостюме) составляет 48 минут. Байрон этим по праву гордился и даже упоминал в своем «Доне Жуане»: описывая, как его герой плавал в родном Гвадалквивире, поэт без ложной скромности замечает:

> *He could, perhaps, have passed the Hellespont,*
> *As once (a feat on which ourselves we prided)*
> *Leander, Mr. Ekenhead, and I did* [4].

Герой-романтик и герой-покоритель рождался и как герой-атлет, для которого его физические достижения и рекорды были ничуть не менее важны, чем успехи на военном, политическом или поэтическом поприще – новой эпохе нужно было новое, спортивное тело.

---

[4] Он переплыл бы даже, несомненно, // И Геллеспонт, когда бы пожелал, – // Что совершили, к вящей нашей гордости, // Лишь Экенхед, Леандр и я – по молодости. Пер. Т. Гнедич.

3

С заплыва Байрона началась эпоха плавания на открытой воде – пловцы по всему миру покоряют реки, озера и проливы: Гибралтар и Ганг, холодный Иссык-Куль и Мессинский пролив на Сицилии, Байкал и пролив Кука в Новой Зеландии, известный своей холодной водой и акулами (британец Адам Уолкер рассказывал, что во время заплыва рядом с ним постоянно были дельфины, которые отгоняли акул), Берингов пролив (американка Линн Кокс пересекла его в пятиградусной воде) и, конечно, 35-километровый Ла-Манш, плавание в котором превратилось в отдельную дисциплину. С первого пересечения пролива в 1875 году в Кале или в Дувре финишировали почти 2 тысячи человек возрастом от 11 до 73 лет, причем у некоторых этот путь из-за течений удлинялся до 105 километров, которые англичанке Джеки Кобелл пришлось плыть почти 29 часов.

И, конечно, вслед за Байроном пловцы преодолевают пролив между Европой и Азией – только не Дарданеллы, а Босфор, в самом сердце Стамбула, между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Босфорским мостом. Заплыв через Босфор проходит каждый год в июле уже тридцать лет и считается входным билетом в мир большой воды. Нередко говорят, что переплыть пролив может каждый, умеющий плавать и не боящийся открытой воды, но Босфор не так прост, как

кажется. Трудности все те же, что были во время заплыва Байрона: три разнонаправленных течения, одно по центру и два других вдоль берегов, волны и ветер. Но главное, что он проходит в Стамбуле, самом бурлящем и ностальгическом городе мира, где сходится мощь двух континентов, двух мировых религий – и одновременно оседает пыль веков, античной, византийской, османской, кемалистской эпохи, где тени прошлого населяют запущенные ялы, виллы османской знати, смотрящиеся в свое отражение на воде, и где в дух города, по словам его сегодняшнего певца Орхана Памука, входит «хюзюн»: печаль, тоска по минувшему.

Собственно, книги Памука, что привили мне любовь к этому городу и ностальгию по чужому прошлому, и привели меня на старт этого заплыва – мне нравилась идея увидеть Стамбул с воды, из той стихии, которая его и создала: «Здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря, – пишет Памук, и слог его подобен течению пролива. – Человек, быстро плывущий на пароходе по неспокойным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу, чувствует, как он наполняется силой моря, и понимает, что и здесь, в этом людском муравейнике, все еще можно быть одному и оставаться свободным. Это водное пространство в центре города не похоже на амстердамские или венецианские каналы или на реки, делящие пополам Париж и Рим, – нет, здесь движутся морские течения,

дуют вольные ветра и волны вздымаются над темными глубинами».

Я готовился к Босфору не в бассейнах, а на даче под Москвой, возле Звенигорода, плавая против течения в Москве-реке. В наших местах она домашняя, почти ручная: где-то мелкая, по колено, а где-то и с головой, со стремнинами, раскидистыми ивами и старыми купальнями по берегам, с песчаными косами и островками, поросшими крапивой и иван-чаем. Я каждый день купал в ней свою собаку Бруно, метиса легавой и отличного пловца, наблюдал, как он с усилием выгребает против потока, стремясь за заветной палкой – и решил попробовать сам. Найдя место поглубже, я надел плавательные очки и поплыл. Течение было бодрым, вода журчала вокруг меня, и я не без труда продвигался вверх. Перед глазами шныряли мелкие рыбки, проплывало дно с отборным речным песком, уложенным аккуратными волнами, словно пюре на тарелке в школьной столовой, там и сям поблескивали перламутром ракушки, струились длинные пряди водорослей, как волосы Офелии.

С тех пор я регулярно бегал тренироваться на реку – два километра по полям туда, заплыв против течения на условных три километра, и два километра бегом обратно, – храня в теле речную свежесть. Бывали жаркие дни, когда вода, тихая и прозрачная, журчит над песчаным дном, которое ты то и дело цепляешь рукой, и я далеко заплывал вверх, почти до самого Звенигорода. А после дождей, или когда сбрасы-

вали воду из верхних водохранилищ – Рузского, Можайского, Озернинского, – река поднималась на метр—два, становилась мощной и мутной, несла ветки и смытые с корнем растения, и я с трудом удерживался на месте, гребя на полной мощности, борясь со встречным потоком и быстро сдаваясь на его волю.

Но главным было ощущение реки как живого существа, ее силы и нежности, запаха чистой речной воды, ее неумолимого безмолвного бега. Словно это река времени, и ты борешься с его потоком, проходишь сквозь него. Гребешь и думаешь: это же та самая река, на которой прошла добрая половина русской истории, и баржи подваливали к причалам Зарядья, и зимой лабазники выпиливали кубы льда и везли на санях в магазины, и на масляную сходились на льду кулачные бои стенка на стенку, и смывали кровь с разбитого лица – и журчит все та же вода, век за веком, безразличная к царствам и судьбам, как метафора вечности, которую ты сейчас разгребаешь собственными ладонями, но она ускользает сквозь пальцы.

И все же эти домашние тренировки не могли подготовить меня ко встрече с Босфором. Я прилетел в Стамбул утром накануне заплыва и сразу отправился на ознакомительную прогулку на пароходике, предоставленном организаторами. Пара сотен пловцов сгрудились у борта, отмечая ориентиры – пролеты моста Султана Мехмета, маяк Румели Хисар, Военная академия и остров Галатасарай. Шутки затихли, ко-

гда мы увидели всю ширину и мощь Босфора, неумолимое бурлящее течение, волны и водовороты, гигантские танкеры и сухогрузы с ржавыми, потертыми бортами: завтра движение судов закроют на время заплыва, но сейчас их внушительный размер был под стать величию этого места.

Вечером я пошел ужинать к пристани Эминеню у входа в залив Золотой Рог. Это настоящее сердце Стамбула, рассылающее потоки крови по артериям города, где бьется вода под винтами десятков паромов, ежеминутно отчаливающих в разные районы на обоих берегах Босфора, сшибаются двухметровые волны, выхлопные трубы пароходов выплевывают сизый дым вперемешку с водой и с криком пикируют чайки на взбаламученную пену. На Галатском мосту уже зажигались огни, под яркими лампами бурлил Египетский рынок с полными лотками специй, призывала к вечерней молитве Новая Мечеть, и ей сверху эхом вторила азан сказочная воздушная мечеть Сулеймание. Вдоль пристани стояли жаровни, где продавали «балык-экмек», багеты с филе макрели на салатном листе, и мидии, нафаршированные рисом. От жажды жизни и полноты ощущений я умял два бутерброда, запив их свежевыжатым гранатовым соком, который продавал тут же из тележки меднолицый турок в феске, разрезая надвое большие гранаты и давя их прессом с длинным рычагом. Я купил и третий экмек, но уже не осилил его и поделился с ленивыми бездомными псами, обжившими центр Стамбула и ставшими городским достоянием – их тут берегут, чи-

пируют, лечат, поят, и каждый желающий может их покормить из специальных автоматов, отсыпающих им в миски сухой корм в обмен на пустые бутылки. Большой добродушный пес с чипом в ухе понюхал булку, из вежливости взял кусок рыбы, подержал в пасти и уронил.

Пить кофе я отправился на полусонный вокзал Сиркеджи, расположенный в двух шагах от пристани, в затейливом здании в стиле модернистского ориентализма. В былые времена сюда прибывал «Восточный экспресс», но сегодня о былой роскоши свидетельствовали лишь ретроресторан и станционный колокол, когда-то возвещавший об отправлении и прибытии поезда. Вокзал был пуст, одиноко горели лампы на пустых столиках, бармен дремал, уронив на грудь гордый нос с роскошными усами – эпоха, несомненно, завершилась.

Наутро я проснулся в шесть от молитвы первого луча, голоса минаретов вступали один за другим в пронзительной полифонии. В моем мини-отеле завтрак так рано еще не подавали, и, подхватив рюкзачок, я выскользнул в утреннюю прохладу района Ортакёй – в лабиринт узких улочек, спящих рынков, книжных развалов, накрытых пленкой от ночной сырости. Кафе еще были закрыты, но на углу работала круглосуточная лавка с шаурмой, где подавали свежевыпеченные лепешки и пили чай из маленьких пузатых стаканчиков мусорщики и работники ночных смен. Я тоже взял чайник медного, густого чая с мятой и чабрецом и к нему «симит», горячий бублик с кунжутом, в который клали масло

и сыр. Утреннее солнце дробилось на пятна сквозь листья платанов, и в глубине ветвей уже вовсю горланили птицы.

К парку Куручешме в районе Бешикташ стекались сотни людей, разминались на траве, мазались солнцезащитными и разогревающими кремами – вода в главном течении по фарватеру пролива будет холодной. У пристани нетерпеливо качались и фыркали катера, сверху жужжал рой операторских дронов, еще выше над ними завис вертолет. В 9 утра мы начали заходить на два трехпалубных парома, которые должны были отвезти нас к месту старта на причале Канлыджа на азиатском берегу: сотни людей разного возраста, пола и комплекции в плавках или купальных костюмах, шапочках и очках – часы, гаджеты, браслеты, кольца строго запрещены, так же, как и неопреновые гидрокостюмы, и маршалы зорко следят за этим на входе. На пароме везут твою голую жизнь, помеченную только номером на шапке и чипом на ноге, чистую человеческую экзистенцию, нервно вибрирующую от предстоящей встречи со стихией. Чувство беззащитной телесности усугублялось тем, что все были в одинаковых тряпичных тапочках, как в гостиничном номере, которые выдали организаторы.

Паром долго швартовался к стартовому понтону, в 10 часов была дана команда на старт, и мы медленно и торжественно, палуба за палубой, стали спускаться на понтон, один за другим прыгая в воду. Внизу оказался ковер из сброшенных белых тапочек: разбежавшись по нему, я услышал

писк чипа и прыгнул солдатиком, придерживая очки руками, чтобы заплыв не закончился, едва начавшись. Вынырнув, я быстро отплыл вперед, чтобы не угодить под прыгающих следом, увидел впереди мост Султана Мехмета, и поплыл, ориентируясь на красный флаг в его среднем пролете. Довольно быстро я ощутил, что попал в прохладную воду, и это был хороший знак – попутное течение из Черного моря в Средиземное на 2–3 градуса холоднее встречных потоков и заметно быстрее, скоростью до 5 узлов, 9 километров в час. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что рядом почти никого нет – пловцы растянулись широким фронтом по проливу, каждый ловя свое течение и траекторию. Я был один на один с Босфором, в окружении мостов, ялы, мечетей, чинар и далеких холмов, что едва угадывались в дымке.

Сверху набежала густая тень, сразу похолодало: мы вплыли под мост. Но вот мы его миновали, а сумрак все не уходил – это набежали низкие облака и поднялся сильный встречный ветер, нагонявший волну. Пристрелянные ориентиры на берегу скрылись в пелене, а компьютера на руке не было, чтобы отмерить расстояние. Я начал считать гребки, чтобы понять, какую дистанцию проплыл и когда надо сворачивать к европейскому берегу по параболе – иначе течение унесло бы меня к Босфорскому мосту (переименованному пару лет назад в Мост мучеников 15 июля): под ним дежурили лодки спасателей, отлавливавших неудачливых пловцов, чтобы тех не унесло в Мраморное море, и возвращавших их

на финиш с бесстрастной пометкой DNF (Did Not Finish) в протоколе. По плану я должен был начинать поворот напротив острова Галатасарай, но за волнами и моросью начинавшегося дождя он все не появлялся. А когда я наконец увидел европейский берег, то был уже напротив двух больших желтых буев, обозначавших финишный створ, и течение неумолимо несло меня мимо них к мосту.

Повернув под 90 градусов, я начал изо всех сил грести на берег, но желтые шары уходили все правее, и я уже думал оставить борьбу и сдаться на волю течения, доплыв до спасателей, как вдруг почувствовал, что тяга его ослабла и вода потеплела: я попал в противоток из Мраморного моря в Черное, который начал потихоньку нести меня к финишу. Еще несколько минут напряженной, до судорог в ногах, работы, и я приближаюсь к финишному понтону с лесенками, но возле него встречное течение особенно сильное и сносит меня вверх. Вместе со мною борются еще десяток пловцов, мы гребем бок о бок, задеваем друг друга руками – тут я понял, почему нельзя брать с собой часы – кто-то цепляет меня за лодыжку, одновременно я получаю удар пяткой в ухо, но все же подбираюсь к спасительному поручню, хватаюсь за него ослабевшими руками и вытаскиваю себя наверх. Меня подхватывают сильные руки, снимают чип, укутывают полотенцем, я унимаю стучащие зубы и что-то отвечаю на вопросы, а сам смотрю на разволновавшийся серый пролив, на разрозненные группы пловцов, сражающихся с течением

перед понтоном, на укрытые одеялами тела, что лежат под капельницами в палатке медиков – и ко мне приходит ощущение финиша и масштаба всего того, что произошло. Нам обещали увеселительный заплыв по течению, а в итоге получился античный эпос с битвой стихий.

Позже я узнаю, что встречное течение оказалось небывало сильным, как бывает раз в десять—пятнадцать лет, и те, кто заходил на финиш по правильной глиссаде, не могли с ним справиться и гребли на месте по 30–40 минут, пока не лишались сил и не поднимали из воды руку с шапочкой, сигнализируя спасателям; в результате почти треть участников, 700 человек, не смогли финишировать или не уложились во временной лимит в 2 часа. А мне, напротив, повезло: потеряв в непогоду ориентиры, я гораздо позже свернул на финиш, и в итоге противоток мне помог. Дождь припустил сильнее, перешел в ливень, и я пошел в раздевалку, сочувствуя сотням людей, еще борющихся с волнами. Мое итоговое время было 1 час 20 минут – на десять минут медленнее, чем у Байрона, покорившего похожую дистанцию больше двухсот лет назад, без спасателей, вертолетов и плавательных очков.

4

Байрон был не только первоклассным пловцом, но во время учебы в Кембридже преуспел также в верховой езде и боксе – необходимых умениях истинного джентльмена – не

отказывая себе, впрочем, в попойках, кутежах и картежной игре, отчего постоянно залезал в долги. Он стал иконой своего времени, на многие десятилетия вперед задав западной культуре образ бунтаря-одиночки, бросившего вызов обществу, власти и филистерской рутине – но также и физическим пределам организма. Герой времени был романтическим мечтателем не только с тонкой душой, но и с закаленным телом. Спорт входит в кодекс джентльмена как основа, на которой развивается деятельная, предприимчивая и гармоничная личность эпохи.

Здесь важно само происхождение английского понятия «джентльмен», которое связано с названием сословия *gentry* – нетитулованное мелкопоместное дворянство, что активно включалось в новый хозяйственный и социальный уклад. Это были не праздные феодалы, живущие на ренту от своих владений, а люди нового времени, благородного происхождения, имеющие право носить оружие (каковое право, впрочем, покупалось) и живущие за счет своего труда: открывая рудники и мануфактуры, участвуя в войнах на Континенте, служа при дворе, в торговой компании или адвокатской конторе, которые возникали в то время в изобилии. К концу XVI века сложилось четкое различие между дворянином и джентльменом, а к XIX веку джентльмен стал не сословным понятием, а социальным типом, что включало в себя определенный образ жизни, строй мысли, самостоятельность и стремление к совершенствованию. Помимо образо-

вания и профессиональных качеств джентльмен должен был обладать широтой интересов, в том числе обязательно иметь хобби, которое могло поглощать значительную часть его времени. Многие гордились успехами в своем увлечении больше, чем в своей основной профессии: известно, что Владимир Набоков, создавший классический образ джентльмена в XX веке, ценил свои достижения в энтомологии выше, чем на литературном поприще – и он же, кстати, в Берлине зарабатывал на жизнь уроками тенниса и бокса.

В интересы джентльмена непременно входил спорт: само это слово, идущее от старофранцузского *desport*, «игра», «забава», изначально подразумевало любое развлечение, от охоты до скачек, но со временем стало обозначать физическую активность. Переломным моментом тут стала Славная Революция 1688 года, которая отменила пуританские запреты на увеселения. Британцы стали адаптировать различные деревенские игры – борьба, кегли, футбол – и аристократические развлечения, такие как скачки и фехтование, под запросы растущего городского населения. Одновременно стало популярным делать ставки на участников или на результаты соревнований, что вскоре привело к выработке правил и появлению первых спортсменов-профессионалов. В XVIII веке при дорогих ресторанах и модных кафе стали возникать клубы по интересам, и в их числе, вслед за охотничьими, возникли спортивные клубы: яхтсменов, гребцов, игроков в крикет – последний особенно был популярен, называ-

ясь «первой из всех спортивных дисциплин».

Идея спорта проникает в элитные учебные заведения, воспитывавшие тех самых джентльменов: среди студентов культивируется гребля (знаменитая лодочная регата Оксфорд – Кембридж на Темзе проводится с 1829 года), плавание, метание копья, прыжки. Английские педагоги наследовали идеям Просвещения о естественном порядке: Руссо учил, что ребенок должен формироваться в борьбе с силами свободной природы – лазать по деревьям, прыгать по камням, перелезать через каменные ограды, плавать. Реформатор образования и ректор колледжа в Регби Томас Арнольд, сам блестящий специалист по античности, в 1830-х годах включил физические упражнения в обязательную программу обучения и стал нанимать профессиональных тренеров в качестве педагогов – его считают отцом слова «спорт» в современном значении, и там же, в Регби, родилась одноименная разновидность игры с мячом.

Подобное воспитание тела и духа привело в начале XIX века к тому, что спорт вошел в ежедневный обиход нового городского класса, и прежде всего джентльменов как законодателей мод. В нем сочетались аристократизм, выраженный в понятии *fair play*, и определенный демократизм: в гимнастическом зале и на боксерском ринге представители разных сословий были поставлены в равные условия. Важным элементом спорта стала работа над телом – одновременно с тем, как развивалась культура дендизма с ее маниакальным

вниманием к платью и внешности, спортсмены занимались своим физическим телом: манежи и клубы украшались атласами мышц, иллюстрациями атлетических тел с указанием идеальных пропорций. Спорт культивировал идею самосовершенствования и успеха и одновременно – страсть к измерению окружающего мира: он становился наукой о секундах, сантиметрах и таблицах, о строгой сертификации рекордов. Вслед за всеобщей рационализацией и бюрократизацией, в нем устанавливались правила, кодексы, хартии, появлялись федерации, менеджеры и чиновники. В то же время – спорт был во многом иррационален, как и законы капитализма, и свободную игру рыночных стихий в нем представляли ставки и пари; а свойственный спорту авантюризм отражал опасности и риски эпохи глобальных путешествий. Спорт выражал сам дух Нового времени и нового человека.

Но тот же самый капитализм порождал не только героя-индивидуалиста, но и массовое общество индустриальной эпохи, с задымленными городами, цехами, промышленными центрами, куда стекались миллионы работников: им нужен был не только хлеб, но зрелища, идея, идентичность, которая давала бы смысл их еженедельному трудовому циклу, эмоциональный спектакль, в котором можно было выразить свое недовольство, гнев, агрессию, надежду, жажду единства. Таким зрелищем для масс стал спорт, и прежде всего футбол, развивавшийся в промышленных центрах: в фабричном Манчестере, портовом Ливерпуле, шахтерском

Кардиффе; названия клубов британской Премьер-лиги – это география промышленной революции. Сценарий этого спектакля наследовал площадным представлениям в эпоху Средневековья, позволял выплеснуться низменным страстям, облекал грубость и жестокость в формы сценического действа. Интересно при этом, что регби – игра, казалось бы, основанная на куда более жестком физическом контакте, эволюционировала в сторону большего аристократизма: на рубеже веков в Британии родилось известное высказывание, которое ошибочно приписывают, как и все цитаты в мире, то Уинстону Черчиллю, то Оскару Уайльду: «Футбол – это спорт для джентльменов, в который играют хулиганы, а регби – спорт для хулиганов, в который играют джентльмены».

Одновременно спорт стал сценой для главной страсти эпохи: национализма. Вслед за Британией и Францией в мир наций вступали Германия и Италия, объединенные Бисмарком и Гарибальди, вздымались новые флаги и воскрешались древние мифы, звучали Вагнер и Верди, строились оперные театры с патриотическим репертуаром, рождалось коллективное тело наций. Этот процесс имел и физическое измерение – патриотизм становился телесной практикой, отправление национальных ритуалов включало в себя гимнастические упражнения и единоборства, военно-спортивные игры. В Германии развивалось движение турн-гимнастики, возникшее еще во времена борьбы с Наполеоном и ставшее особенно популярным в эпоху национального возрождения:

«турнферайны» (аббревиатуру TV по-прежнему носят многие немецкие спортклубы) устраивали коллективные упражнения, маршировали с барабанами, строили пирамиды из тел. Тем же самым занималось сокольское движение в Чехии, основанное в Праге в 1862 году: «соколы» в своей подготовке делали упор на фехтовании, тяжелой атлетике, маршировке и особой «сокольской гимнастике», на их многотысячных спортивных фестивалях, «слетах», пропагандировались идеи чешского национализма и панславизма.

К началу XX века эпоха романтического национализма окончательно уступила место эпохе империализма и войны. Массовый спорт был присвоен большими государственными машинами по производству насилия, и тон здесь задавали тоталитарные режимы. В фашистской Италии тысячи людей маршировали и делали гимнастические упражнения с винтовками в палестрах и римских амфитеатрах под надменным взглядом Дуче. В нацистской Германии спорт стал религией, воспетой Лени Рифеншталь, которая возвела арийский культ тела к древнегреческому мифу и к античной пластике; Олимпиада 1936 года в Берлине была важнейшей частью фашистского идеологического проекта, как и проведенная впервые эстафета олимпийского огня, зажженного в священной роще в Афинах. В сталинском СССР спорт был «приводным ремнем» полувоенного государства, готовившего население к труду и обороне:

Эй, вратарь, готовься к бою,
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет! —

призывала песня, и любое спортивное действо виделось метафорой войны, близкой и неизбежной. Обнаженные стройные юноши в трусах и девушки в трико маршировали по Красной площади, кричали «ура!», строили гимнастические фигуры – трактор, танк, паровоз: государство распоряжалось телами как послушной, пластичной биомассой. Оставалась всего пара лет до того, как все они были брошены в мясорубку Второй мировой.

После войны огосударствление спорта в Советском Союзе вышло на новый уровень: теперь он виделся не только как средство мобилизации населения на трудовые и ратные подвиги, но как витрина социализма. В 1952 году, еще при жизни Сталина, СССР вышел из добровольной спортивной самоизоляции и присоединился к олимпийскому движению. Была поставлена задача «догнать и перегнать» Запад по количеству рекордов и медалей, и под нее выделены ресурсы и отстроена целая отрасль: снизу была система массовых стартов (в основном показушных, для бюрократической отчетности) и сеть детско-юношеских спортшкол, сверху – спорт высших достижений. Вся система подготовки атлетов и распределения ресурсов строилась с прицелом на олимпийские медали, спортивная индустрия превратилась в стратегиче-

скую отрасль по добыче золота.

Все начиналось с детских спортшкол, где происходила жесткая селекция только самых перспективных, а остальные, не пройдя сито отборов и соревнований, отсеивались на ранних стадиях, нередко получая проблемы со здоровьем и стойкое отвращение к спорту на многие годы вперед. Сколько я видел таких бывших спортсменов, не знавших в детстве ничего, кроме тренировок, переездов, сборов и отборов, выполнивших к своим 18–20 годам норматив мастера спорта, но затем не попавших в молодежную сборную, потому что на какие-то доли секунды не уложились в зачетные нормативы, и махнувших рукой, завязавших со спортом: люди начинали пить и гулять, добирая упущенные развлечения, набирали вес – и возвращались к занятиям лишь 15–20 лет спустя, уже в качестве любителей.

Единственным критерием были медали: победители получали от государства награды, машины, квартиры, депутатские мандаты, а те, кто не пробился наверх, – подорванное здоровье и в лучшем случае тренерскую работу: спортивная машина превращала тела в рекорды и отбрасывала отработанный материал. Основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен вывел в 1913 году свою знаменитую формулу: «На сто человек, занимающихся физкультурой, должно быть пятьдесят, занимающихся спортом; на пятьдесят, занимающихся спортом, должно быть двадцать, специализирующихся в отдельной дисциплине; на двадцать специали-

стов должно быть пятеро, обладающих удивительными возможностями», из этих пятерых, добавим мы, один становился олимпийским чемпионом. В этой идеальной «пирамиде Кубертена» основанием были физкультура и массовый спорт, в них следовало делать основные вложения и из них путем естественного отбора вырастали бы атлеты мирового уровня. В СССР же эта пирамида была поставлена с ног на голову: массовый спорт существовал «для галочки» и для бравурных газетных отчетов, а реальные ресурсы направлялись только в спорт высших достижений, где производился искусственный отбор, ставились медицинские и биологические эксперименты и выращивались «лабораторные атлеты», призванные доказывать преимущества социализма.

Вслед за Советским Союзом во всемирную гонку спортивных вооружений включались сателлиты: ГДР, Румыния, Куба, создававшие допинговые машины по примеру советской. Особенно преуспела в этом Восточная Германия, относившаяся к спортивной медицине за гранью этики и прав человека с чисто прусским педантизмом: применение анаболиков и гормональных средств было в сборной ГДР обязательным, а порой и принудительным, причем включали в нее уже с 12-летнего возраста. Допинговая программа искалечила целое поколение восточногерманских атлетов: одни умерли от цирроза печени или получили диабет, другие от приема тестостерона превратились из женщин в мужчин, как легкоатлетка Хайди Кригер, ставшая Андреасом Кригером,

у иных женщин случались выкидыши и рождались дети с дефектами конечностей. Некоторые из рекордов московской Олимпиады 1980 года, проходившей без участия команд западных стран, где подавляющее большинство медалей было выиграно атлетами социалистического лагеря, не побиты до сих пор – допинг-контроль того времени ловил лишь малую часть запрещенных веществ и проходил под надзором советских спортивных чиновников.

Впрочем, мало что может сравниться с допинговой аферой России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда спортсмены принимали специальный коктейль «дюшес» из анаболических стероидов с «мартини», маскирующий запрещенные вещества, а по ночам агенты спецслужб проникали в опечатанную антидопинговую лабораторию через заранее прорубленную дырку в стене и подменяли в шкафах грязные пробы мочи российских атлетов на чистые, взятые задолго до соревнований. Когда перебежчик из России, биохимик Григорий Родченков, который долгое время был «мозгом» российской допинговой программы, раскрыл шокирующие подробности этой операции, санкционированной высшим руководством страны, российскую команду исключили из мирового олимпийского движения, и спортсменов из России сейчас приглашают на Олимпиады лишь в индивидуальном качестве.

И если российская допинговая программа впечатляла своими масштабами и государственной поддержкой, то в

целом проблема допинга является системной в профессиональном спорте во всех странах мира – и здесь работает уже не политическая, а коммерческая мотивация: погоня за призовыми, успехом и славой. Особенно преуспели в этом виды спорта на выносливость, где врачи колдуют над повышением транспортной способности крови – чтобы она доставляла к мышцам больше кислорода – и используют для этого почечный гормон эритропоэтин (ЭПО). Мой любимый велоспорт уже больше двух десятков лет сотрясают допинговые скандалы, от дела «Фестины» в 1998 году, когда французская полиция обнаружила целый букет запрещенных препаратов у представителя команды, до «операции Пуэрто», когда в клинике испанского доктора Фуэнтеса были обнаружены сто пакетов с кровью ведущих велогонщиков. На допинге (или аномально высоком гемоглобине или гематокрите) попадались ведущие спортсмены – Марио Чипполини, Эрих Цабель, Ян Ульрих, Александр Винокуров: считалось, что в в 1990-х и 2000-х годах на ЭПО ехала большая часть профессионального пелотона.

Кульминацией стало разоблачение в 2012 году кумира поколения (и в тот момент моего тоже) американца Лэнса Армстронга, который не только выиграл при помощи допинга свои рекордные семь титулов Тур де Франс, но и принуждал принимать допинг членов своей команды: молодых велогонщиков будили среди ночи и сажали на велостанки, заставляя крутить педали – иначе вязкость их крови, загустевшей

от повышенного гемоглобина, в сочетании с низким ночным пульсом могла привести к остановке сердца. Преуспели в допинге и другие циклические виды спорта: можно вспомнить олимпийских чемпионов легкоатлетов канадца Бена Джонсона и американку Марион Джонс, а также грандиозный допинговый скандал на чемпионате мира по лыжам в Лахти в 2001 году, когда в употреблении ЭПО была уличена вся сборная Финляндии, включая легенду лыж Харри Кирвисниеми.

Проблема допинга гораздо больше, чем спорт, – это императив современной цивилизации, ищущей «волшебную пилюлю», легкий путь к успеху, это культ модификации тела, от пластической хирургии до генной инженерии, и возможно, в секретных китайских лабораториях уже выращивают генно-модифицированных атлетов. Есть много сторонников допинга, которые говорят, что надо разрешить любые эксперименты с телом ради зрелищности и новых рекордов, что это новая антропология и этап в эволюции человека с использованием технических достижений, «человек плюс», трансгуманизм. Мне эта логика чужда – человек в ней превращается из субъекта в объект, в носителя заемных медицинских, фармацевтических и генетических технологий, исчезает свобода воли и идеал самосовершенствования. Допинг – это не столько обман других, сколько обман себя; для меня спорт – это увлекательная работа с собственным телом, с его физическими и психологическими пределами, которые можно

расширять при помощи упорства и воли, победа естественного порядка над искусственным, природы над цивилизацией, и любой внешний агент, типа таблетки или импланта, разрушит этот процесс самосовершенствования.

У меня есть собственный, годами проверенный, допинг: перед стартом за ужином выпивать пару бокалов красного вина – для повышения гемоглобина, для помощи желудку при поглощении гargантюанских порций углеводов и для крепкого сна. Впрочем, я и в обычной жизни сажусь ужинать с вином – привычка, которую приобрел в Италии и от которой не отказываюсь уже двадцать лет – но накануне старта она обретает характер священнодействия. Однажды зимним вечером в Москве, накануне 50-километрового лыжного марафона имени Кузина и Барановой, которым обычно открывается марафонский сезон в столице, я готовил ужин: уже кипела вода для спагетти, был натерт на крупную терку пармезан, нарезана пластами моцарелла, и бакинский помидор, политый оливковым маслом, искрился кристаллами на срезе. Я достал из буфета бокал и вдруг с ужасом понял, что в доме кончилось красное вино. Я в панике взглянул на кухонные часы: на них было 22:50. Я, как был в домашних штанах, вскочил в кроссовки, схватил пуховик и кредитку, в лифте зашнуровался, вылетел из подъезда и по обледеневшей улице спринтовал к ближайшему супермаркету в километре от дома. Бежал я, думаю, в темпе гораздо быстрее 3:30 минут на километр, влетел в магазин в 22:59, за минуту до закры-

тия продажи алкоголя, схватил попавшуюся под руку бутылку сицилийского Неро д'Авола – а на единственной открытой кассе очередь! Пять человек!

– Вино! – кричу я сзади.

– Вино! – отвечает эхом очередь и передает по рукам мою бутылку, как младенца в кинофильме «Цирк», прямо к кассиру, которая сканирует ее, и очередь ждет, затаив дыхание: успел ли? Терминал издает писк, я сую кредитку, вылезает чек: успел! Люди выдыхают, улыбаются, кассирша меня поздравляет, я выношу бутылку из магазина аккуратно, как приз, и обратно уже бегу по льду осторожной трусцой. Макароны, кстати, почти не переварились. Приготовились пусть и не до итальянской жесткости *al dente*, но до среднеевропейских значений. А вино оказалось молодое, но уже с сильным и терпким характером региона, где солнце светит триста шестьдесят дней в году.

Крепкий алкоголь я перед гонкой пить не стану, хотя эспрессо с рюмкой граппы (*caffè corretto*, «приправленный кофе», как называют его в Италии) после хорошего ужина никак не навредит – и, кстати, кофеин является для меня еще одним разрешенным стимулятором, роль которого признают многие атлеты и который входит в состав спортивных гелей и напитков; сам я выпиваю ежедневно до 4–5 порций крепкого кофе и не представляю свой день без пары чашек на завтрак. А после старта, особенно летом, отлично восстанавливает бутылка пива: оно пополняет запасы углеводов, ви-

таминов и кремния, необходимого для костей; мысль о бокале светлого лагера или пшеничного белого придает силы на последних километрах длительной воскресной пробежки по жаре. Хотя, бывает, пиво помогает и зимой: после финиша Тартуского лыжного марафона, одного из самых уютных и домашних стартов, в финишном городке в Элве дают горячее темное пиво – бархатное, горько-сладкое, одновременно утоляющее жажду и голод: я, бывает, выхлебываю его по два полных бокала и не чувствую ни малейшего опьянения, только тепло и сытость разливаются по венам. Еще один разрешенный стимулятор – музыка перед стартом. Я помню, на одном из забегов (это был горный марафон в Лихтенштейне) за пять минут до старта организаторы включили магическую песню AC/DC *Thunderstruck*: я и в обычной жизни от нее прихожу в экстаз, и однажды в машине, когда ее передавали по радио, пришлось съехать на обочину и там уже оторваться по полной, – а тут я буквально выстрелил из стартового створа и понесся вдоль берега Рейна. Хард-рок и хеви-метал вообще хороши в качестве ускорителя, разгоняя кровь, учащая пульс, настраивая одновременно на боевой и возвышенный лад, – но точно так же для меня работает и музыка барокко, что не случайно: рок и барокко родственны по своей ритмической структуре, основанной на остинатном басе, Ричи Блэкмор преклонялся перед Бахом, и у меня есть запись, где Rainbow играют на репетиции рок-версию Английской сюиты соль-минор. Так что перед стартом впол-

не можно послушать баховские токкаты или вступительный хор из «Страстей по Иоанну». Впрочем, в качестве энергетической зарядки подойдет масса классической музыки, от финалов симфоний Брукнера до финала Третьей Шуберта, летучей тарантеллы, от которой ноги сами пускаются в пляс.

И наконец, природа – тоже вид допинга. На лыжных или кроссовых забегах в лесу я заключаю тайный союз с деревьями вдоль трассы, чаще всего с осинами и елями. На просмотре дистанции я выбираю самые статные и красивые деревья – обычно они растут группами, по соседству, в отмеченных природой местах – и прошу их дать сил во время гонки; впрочем, помощниками могут быть и камень, и ручей, и скамейка в поле. Не уверен, что они действительно прибавляют скорости, но точно дарят радость узнавания, словно по трассе стоят болеющие за тебя друзья.

А настоящий допинг не раз и не два проходил мимо меня – намеками назывались спортсмены и тренеры, у которых можно было купить «витаминки», я знал пару известных российских любителей, побеждавших на международных стартах, которые были пойманы на использовании кровяного допинга и дисквалифицированы. А остановившись однажды в гостинице с сильными лыжниками перед марафоном «Праздник Севера» в Мурманске, я стучался по номерам в поисках кипятильника – и во многих комнатах не открыли: как мне сказали потом, там гонщики лежали под капельницами. Это были, конечно, их частные амбиции – забе-

жать в десятку, в призы – но сама культура допинга есть порождение советской, а позже российской, спортивной машины. И по большому счету, является одним из тупиков современной цивилизации с ее «биополитикой», по определению Мишеля Фуко, которая превратила спорт – и тело – в придаток больших механизмов государства, идеологии и рынка.

5

Новый ренессанс человеческого тела наступил в 1970-х. На Западе началась социальная революция, вызванная пришествием нового поколения: оно не знало тягот войны, выросло в относительном благополучии и взбунтовалось против прежнего дисциплинарного порядка, потребительского общества и традиционной морали. Хиппи и панки, рок-н-ролл и наркотики, движения против войны во Вьетнаме и за права женщин, цветных, сексуальных меньшинств и угнетенных народов слились в общий поток, пошатнувший патриархальные устои. И, как и первый, исторический, Ренессанс, этот переворот был эмансипацией телесности, в которую главный вклад внесла сексуальная революция: «отчеты Кинси» о сексуальном поведении человека, распространение надежной и доступной контрацепции и открытие женского оргазма радикально изменили наше представление о сексе. Отныне он был отделен от репродукции и становился делом удовольствия и индивидуального выбора каждого

и в особенности каждой: женщины получали права на собственное тело. В коммунах хиппи и на фестивальном поле Вудстока, на антивоенных маршах и на баррикадах Сорбонны молодые тела требовали свободы – от призыва в армию и от семейной жизни, от диктата бюрократов и профессоров, от дисциплинирующей одежды и от стрижки волос.

Важной частью новой телесности стала аэробика: женщины, а за ними и мужчины разных возрастов и комплекций облеклись в лосины и трико веселых расцветок и вместе с секс-символом поколения Джейн Фонда стали делать перед телеэкраном свободные и порой двусмысленные телодвижения – на подмогу пришел только что изобретенный японцами видеомагнитофон, который отвязал человека от диктата телевидения и коллективного просмотра. Но, пожалуй, ни в чем американская страсть к свободе, индивидуализму и покорению пространства не проявилась так ярко, как в беговой революции 1970-х. Отсчет здесь обычно ведут от телевизионной трансляции марафона на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, который выиграл американец Фрэнк Шортер. Телезрителям запомнился драматичный финиш, когда перед Шортером выскочил на трассу и первым выбежал на стадион неизвестный человек в беговой форме, которого публика приняла за лидера забега, и комментатор на телеканале ABC, писатель Эрих Сегал (сам бегун-любитель), закричал в прямом эфире на всю Америку: *„It's a fraud, Frank!“*[5] Этот

[5] Фрэнк, это обман!

эпизод познакомил миллионы американцев с понятием «марафон», который из состязания для суперменов превратился в понятную человеческую историю.

Вместе со Шортером на той Олимпиаде на дистанции 5000 метров бежала другая легенда американской легкой атлетики, молодой Стив Префонтейн, восходящая звезда, харизматик и любимец публики, бегавший отчаянно и бескомпромиссно, всегда на первой позиции от старта до финиша, и бивший один за другим все национальные рекорды. Ему прочили мировую славу, но он погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет, и сегодня по всей Америке ему поставлены памятники и проводятся беговые мемориалы в его честь.

Вслед за своими кумирами побежали десятки миллионов американцев, включая тогдашнего президента Джимми Картера (да и все последующие хозяева Белого дома занимались бегом за исключением, естественно, Дональда Трампа, который предпочитал гольф) – к концу десятилетия в США регулярно бегали 25 миллионов человек. Повинуясь императиву движения, заложенному еще пионерами на своих фургонах, что двигались на Запад в поисках земли обетованной, Соединенные Штаты стали первой в мире нацией, освоившей автомобиль, а затем и первой в мире бегущей нацией. Джоггинг сделался образом жизни, национальным хобби американцев, от колледжа до глубокой старости, евангелием, которое они несли в мир. Помню, как потрясло мое детское воображение зрелище пробежки по Садовому кольцу охранников из аме-

риканского посольства. Для Москвы конца 1970-х это был культурный шок: машины притормаживали, люди оборачивались, когда вниз по Новинскому бульвару, тогда еще улице Чайковского, неторопливо, трусцой бежали четыре—пять морпехов, из них пара чернокожих – накачанные, сытые, в ослепительно-чистых майках и в шортах, всегда в шортах, в любую погоду; в их беге был вызов гранитной серости Москвы эпохи позднего социализма, недоступная простым смертным свобода. Это инопланетное зрелище, наверное, повлияло на то, что подростком я начал свои регулярные ночные пробежки.

Беговая революция в США запечатлена в главном американском эпосе конца XX века, фильме «Форрест Гамп»: спасаясь в детстве от злых мальчишек, Форрест чудесным образом избавляется от ортезов и костылей и начинает бежать под крик своей подружки Дженни: „*Run, Forrest, run!*“ Он бежит по полю американского футбола, получив роль «раннингбека», игрока, несущегося с мячом по направлению к задней линии противника, бежит во Вьетнаме, спасая в джунглях из-под огня бойцов своего взвода, а утратив смысл жизни, он встает с качалки на террасе своего дома в Алабаме и принимается бежать без видимой цели и причины. Он бежит через свой город, графство, штат, через всю Америку, добегает до Тихого океана, до пирса Санта-Моники, разворачивается и бежит обратно к Атлантике, до маяков штата Мэн. По дороге он обрастает поклонниками и учени-

ками, случайно брошенные им фразы становятся мемами, от *shit happens* до *have a nice day* со смайлом; он бежит ровно три года, два месяца, 14 дней и 16 часов, пока вдруг не останавливается посреди легендарного американского пейзажа, у Долины монументов на границе Юты и Аризоны, обросший и значительный, как библейский пророк, и не произносит: «Я устал. Я пойду домой», оставив в растерянности бегущую за ним паству.

В своих странствиях по Америке я не мог проехать мимо этого места. В тот раз я решил пересечь страну от океана до океана – пока еще не бегом, хотя, быть может, когда-нибудь и дорасту до этого подвига медитации, а всего лишь на машине – но при этом пробегать по 10–15 километров на каждой остановке. Я взял машину по схеме *drive away* – хозяину автомобиля необходимо доставить его в другой город, часто на другой конец страны, а тебе надо туда попасть, и ты забираешь у него машину и в условленный день пригоняешь ее по указанному адресу. Я нашел по объявлению девушку из Ньютона, штат Массачусетс, пригорода Бостона, которой надо было перегнать *Ford Explorer* с вещами в родительский дом в Лос-Анджелесе. Мы созвонились, сговорились, я приехал на тихую улочку с белыми колониальными домами и аккуратными газонами. Она мельком взглянула на мой паспорт и вручила ключи от внедорожника, в котором были ящики с одеждой и книгами, торшер и телевизор.

На дорогу до Тихого океана у меня были щедрые девять

дней, и я построил сложный маршрут, пробежавшись для начала по трассе Бостонского марафона, от знаменитого подъема *Heartbreak Hill* до финиша у реки Чарльз и дальше, через Чайнатаун и финансовый район до пирсов Бостонской гавани, с которой начиналась история американской независимости. На следующий день я уже бегал по бесконечным песчаным пляжам озера Эри, на третий – в глуши Миннесоты: там еловые леса, деревянные амбары, выкрашенные охрой, и боковые проезды, названные нордическими именами Олафссон, Петерссон и Йонссон, напоминали о милой моему сердцу Скандинавии. Пустынные перегоны Южной Дакоты и Вайоминга, где под бескрайним небом единственными ориентирами были ветряки и силосные башни, привели меня в Йеллоустоун, где на ночлегах в кемпинге надо было прятать в контейнеры еду, чтобы не пришли на запах медведи, а оттуда – в один из моих любимых штатов, Юту, которая для меня земля не мормонов, а каньонов, божественных фантазий на темы геологии и истории Земли. Я бегал по крутым тропинкам в парке Арчес, где скалы застыли в виде гигантских арок, заехал в национальный парк Каньонлендс, едва не наступив там на гремучую змею, которая предупредительно выставила свою погремушку, и заночевал в лихом молодежном Моабе, мекке маунтинбайкеров, днем осваивавших местные отполированные скалы, *slickrock*, а по ночам – бесчисленные пабы. На седьмой день своего путешествия я приехал в то самое место под Кайентой, на границе

Юты и Аризоны, где остановился на дороге Форрест Гамп – бородатый, в бейсболке и зеленом плаще.

Был августовский полдень, жара перевалила за 100 по Фаренгейту или 38 по Цельсию, вокруг раскинулась выжженная красная земля, поросшая креозотовым кустарником, а впереди, словно мираж, виднелись в мареве скалы Долины монументов, над которыми, повторяя их контур, громоздились облака. Я остановил машину на пустой парковке, где стоял заброшенный мертвый киоск, надел кроссовки и снял майку. Жара почти не чувствовалась, бусинки пота моментально испарялись в горячем сухом воздухе, тело не отбрасывало тени. Дорога шла под уклон, и я побежал в сторону Долины, стараясь вдыхать неглубоко, чтобы не обжечь бронхи раскаленным воздухом от асфальта. Пробежав минут десять, я остановился. На шоссе ни спереди, ни сзади не виднелось ни одного автомобиля – я был один в пустыне. Скалы были все так же далеки и несбыточны, воздух дрожал, стояла вселенская тишина. И тогда снова, как на вершине Мон-Ванту или в водах Босфора, я ощутил себя, свое тело частью большой истории, в которой поколения людей преодолевали пространство и открывали пейзаж. Это движение бесконечно, этот сюжет вечен: стоим ли мы возле морских волн, подобно Байрону, или на вершине горы, подобно Петрарке, бежим ли без цели, подобно Форресту Гампу – мы воспроизводим весь цикл культуры Нового времени, архетип того фаустовского человека, который желает объять Вселенную, остано-

вить мгновение и готов отдать за это свою бессмертную душу. В последние минуты жизни он переживает откровение и произносит заветную фразу, торжествующий Мефистофель собирается забрать его душу – но ее перехватывают ангелы и возносят на небо: искания и стремления Фауста становятся для него залогом спасения.

Вдалеке, со стороны Долины монументов и резервации навахо, показались огни автомобиля: они отражались от горячего асфальта, как ото льда. Я развернулся и побежал к своей машине. Позади были три тысячи миль от побережья Атлантики, леса, озера, прерии, Скалистые горы, впереди была еще тысяча миль: через Гранд-Каньон, на северном «риме», крае, исполинскую мощь которого я впервые увидел и понял, откуда берется американская гигантомания; через Вегас, самый вымышленный город на планете, к обманчивым огням которого я спустился на закате с гор; были солончаки и лунные пейзажи Долины Смерти, были сплетения хайвеев и плотный трафик по пути к побережью, были золотящиеся вдали башни даунтауна Лос-Анджелеса, хрестоматийные холмы Голливуда, и, наконец, тот самый пирс в Санта-Монике где я догнал убегающее на запад солнце и прикоснулся к нему перед тем, как оно погрузилось в океан.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.